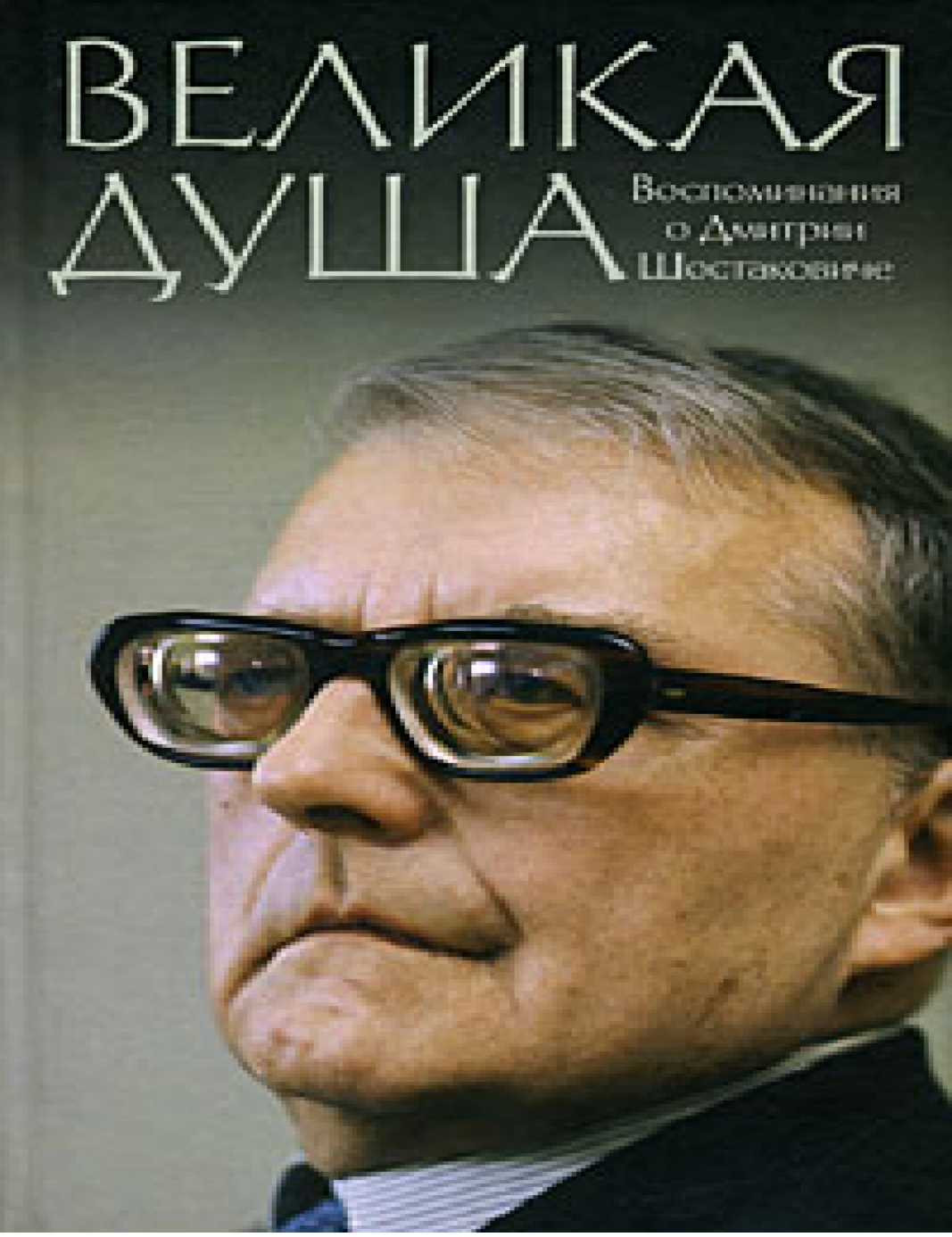
ВЕЛИКАЯ ДУША

Воспоминания о Дмитрии Шостаковиче



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ардов Михаил Викторович родился в 1937 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ, работал на радио. В 1980 году принял священный сан в Ярославской епархии. В 1993 году ушел из Московской Патриархии в другую юрисдикцию. Ныне — настоятель храма во имя Царя Мученика Николая I, что на Головинском кладбище в Москве. Автор нескольких книг. В «Новом мире» публиковалась его мемуарная проза.

- Михаил Ардов
  -
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV
  - XVI
  - XVII
  - XVIII
  - XIX
  - XX
  - XXI
  - XXII
  - XXIII
  - XXIV
  - XXV
  - XXVI
  - XXVII
  - XXVIII
  - XXIX
  - XXX
  - XXXI

- ○ XXXII
- ○ XXXIII
- ○ XXXIV
- ○ XXXV
- ○ XXXVI
- ○ XXXVII
- ○ XXXVIII
- ○ XXXIX
- ○ XL
- ○ XLI
- ○ XLII
- ○ XLIII
- ○ XLIV
- ○ XLV
- ○ XLVI
- ○ XLVII
- ○ XLVIII
- ○ XLIX
- ○
- ○ L
- ○ LI
- ○ LII
- ○ LIII
- ○ LIV
- ○ LV

Михаил Ардов
Книга о Шостаковиче

Смолоду я знавал трех людей, к которым вполне был применим эпитет «великий». Это были поэты Анна Ахматова, Борис Пастернак и композитор Дмитрий Шостакович. С Ахматовой я был в доверительных отношениях, с Пастернаком часто виделся и иногда разговаривал… Впрочем, и встречи мои с Шостаковичем в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов носили довольно регулярный характер, поскольку я дружил с его детьми. Было бы преувеличением утверждать, что я общался с Шостаковичем, — он был наглухо закрыт для людей посторонних, к каковым, безусловно, относились приятели его сына и дочери. Но при том я смотрел на него, как на некое чудо, поскольку уже тогда понимал, что среди современных композиторов нет ему равных.

Со дня смерти Шостаковича прошло более четверти века, из книг, посвященных ему и его творчеству, можно составить целую библиотеку. Но среди этих весьма многочисленных изданий нет ни одного такого, которое могло бы дать ясное понятие о том, что за человек был Дмитрий Дмитриевич, каков он был в общении с близкими людьми, какие имел привычки и пристрастия. Нельзя сказать, чтобы мемуаристы и биографы обходили эту тему, но такие свидетельства распылены по многим изданиям, и их не всегда легко отыскать среди пространных музыковедческих, да и политических пассажей.

Моя давняя близость с детьми Шостаковича — Галиной и Максимом — натолкнула меня на мысль записать их рассказы об отце, и в результате появилась эта книга. Их воспоминания дополнены выдержками из некоторых изданий, чаще всего я цитирую замечательнейшую книгу «Письма к другу. Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману» (СПб., 1993) и фундаментальный труд Софьи Хентовой «Шостакович. Жизнь и творчество» (Л., 1986, том 2).

За время работы над этой книгой я прочел множество публикаций, так или иначе связанных с личностью великого композитора, много думал о нем. И вот теперь, если бы меня спросили: знал ли я когда-нибудь абсолютно гениального человека? — я бы ответил: да, я был знаком с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем.

А на вопрос: известен ли был мне подлинный русский интеллигент, интеллигент до мозга костей? — я бы дал тот же

самый ответ.

I

Галина:

У ворот нашей дачи стоит маленький красный автомобиль. Отец и мама нагружают его чемоданами, а мы с братом Максимом смотрим на них. У меня в руках огромная кукла — мне ее подарили совсем недавно, и я ужасно боюсь, что родители оставят ее на даче…

Это — одно из самых ранних моих воспоминаний. Лето 1941 года, только что началась война, и мы переезжаем из Комарова (тогда это местечко называлось по-фински — Келомяки) в город, на нашу ленинградскую квартиру.

Следующее воспоминание относится к осени того же года: аэродром в окруженном немцами Ленинграде. На этот раз мы со своими вещами погружаемся в самолет. Он был совсем небольшой, кроме родителей и нас с братом только летчики, три или четыре человека.

Внутри никаких сидений, дощатый пол и деревянные ящики. Нам сказали, что на них садиться нельзя, и мы расположились на чемоданах. В крыше самолета был прозрачный колпак, под ним стоял один из летчиков, он все время глядел по сторонам. Он нас предупредил: если махну рукой — все ложитесь на пол.

Максим:

На аэродром мы ехали на черной «эмке», это была собственная машина отца. Он вспоминал, что там, возле нашего ленинградского дома на Большой Пушкарской улице, когда мы усаживались в автомобиль, я впервые внятно произнес звук «р», до той поры я не умел его выговаривать. Тут я обратился к родителям с таким вопросом: «А вдруг немец нас как т-ррр-ахнет?!»

А во время полета я смотрел в иллюминатор и видел внизу вспышки… Я спросил: «Что там такое?» И мне объяснили, что это немцы стреляют по нашему самолету.

Галина:

Приземлились мы возле какого-то подмосковного леса, там

стояла небольшая избушка. Тут наши летчики принялись рубить деревья и закрыли ими свой самолет. В том самом домишке возле леса мы переночевали.

Потом мы жили в гостинице «Москва». Это я плохо помню. Зато мне запомнилась поездка в магазин, нам с Максимом купили новые игрушки, взамен тех, что остались в Ленинграде.

Дирижер Борис Хайкин:

«…1941 год, октябрь. Я живу в гостинице „Москва“. Частые воздушные тревоги заставляют спускаться в подвал под громадное по тем временам здание гостиницы. Там встречаемся — Шостакович вместе с Ниной Васильевной и с двумя маленькими детьми. Сыро. Холодно. Сколько продлится тревога — абсолютно неизвестно. Шостакович ходит по подвалу беспокойными шагами и повторяет ни к кому не обращаясь: „Братья Райт, братья Райт, что вы наделали, что вы наделали!“»

(Хайкин Б. Э. Беседы о дирижерском мастерстве. М., 1984, стр. 97–98.)

Галина:

Из Москвы путь нашего семейства лежал в Куйбышев. Ехали мы на поезде, и в дороге у нас потерялись два чемодана. Это я запомнила.

Максим:

Вместе с нами в эвакуацию ехал композитор Арам Хачатурян, много лет спустя он рассказывал Г. М. Шнеерсону, что в вагоне вместо сорока двух человек разместилось более ста и что какого-то парня, забравшегося на третью полку, долго убеждали уступить место Нине Васильевне Шостакович с детьми. А Б. Э. Хайкин вспоминал, что у Дмитрия Дмитриевича был вид подавленный. Оказалось, что в одном из утерянных при посадке чемоданов была рукопись Седьмой симфонии. По счастию, чемоданы нашлись, в суматохе их забросили в соседний вагон.

Галина:

Сначала мы поселились в здании школы, вместе с семьей художника Петра Вильямса, но вскоре нам предоставили отдельную комнату.

Художник Николай Соколов записал такой монолог Шостаковича:

«Знаете, Николай Александрович, когда в Москве мы с ребятами влезли в темный вагон, я почувствовал, что попал в рай!.. Но на седьмые сутки езды я уже чувствовал себя как в аду. Когда же меня поместили в классе школы, да еще на ковре, и обставили кругом чемоданами, я снова ощутил себя в раю, но уже через три дня меня стала утомлять эта обстановка: нельзя раздеться, кругом масса незнакомых людей… Я вновь воспринял это как ад. Но вот меня переселили в отдельную комнату… Так что же? Через некоторое время я почувствовал, что теперь мне необходим рояль. Дали мне и рояль. Все как будто хорошо, и снова я подумал: „Вот это рай!“ Но начинаю замечать, что в одной комнате работать все-таки неудобно: дети мешают, шумят…»

(Хентова, стр. 43).

Галина:

В Куйбышеве у нас появилась лохматая собака Рыжик. Мы с Максимом нашли его в подъезде на лестнице, и — о, радость! — родители позволили ему у нас жить. Он был сообразительный и неприхотливый — типичный дворовый пес.

И еще одно существенное воспоминание о жизни в Куйбышеве: нас с братом впервые взяли на концерт, это была премьера Седьмой симфонии нашего отца. До этого мы присутствовали на репетициях, и наша мама вспоминала: Максим выходил на сцену и начинал дирижировать, так что его приходилось насильно уводить за кулисы.

Максим:

Я репетиций почему-то не помню. А вот концерт мне запомнился, музыка Седьмой симфонии вошла в мою душу… Тема нашествия из первой части, приближение чего-то жуткого, неотвратимого… У нас с Галей была тогда набожная няня, такая Паша. И я эту музыку слышал во сне. Издалека звучит барабан, все громче и громче… И я в ужасе просыпался от этого кошмара, я бежал к Паше, она крестила меня и читала молитву…

А еще я запомнил вкус конфет, которыми нас с Галей угощали на той премьере. Это была шоколадная помадка, такие конфеты мне никогда больше не попадались.

Галина:

В военные годы катастрофически не хватало продовольствия, и в этом, конечно, причина того, что вкус той помадки так запомнился Максиму. Разумеется, мы, дети Шостаковича, никогда не голодали, но отцу было непросто прокормить всю многочисленную родню, которая приехала к нам в Куйбышев.

Из письма Д. Шостаковича И. Гликману, 1 марта 1943 года:

«Все члены моей семьи здоровы и все время громкими голосами говорят о продуктах питания. Я, слушая эти разговоры, начал забывать многие слова, но хорошо помню следующие: хлеб, масло, полкило, водка, двести грамм, пропуск, кондитерские изделия и немногие другие»

(«Письма к другу», стр. 53).

Максим:

И еще одна история, связанная с городом Куйбышевом. Во времена советские для лиц привилегированных существовали так называемые «закрытые» магазины и столовые, продукты и товары там были лучшего качества и по низким ценам. Так вот отец рассказывал, что на какой-то двери он обнаружил в те дни такое выразительное объявление:

«С 1 февраля открытая столовая здесь закрывается.

Тут открывается закрытая столовая».

II

Галина:

В дверях комнаты появляется скульптор Илья Львович Слоним, строгим голосом он говорит:

— Дети, отдайте мой пластилин.

Мы с Максимом смущены, быстро собираем кусочки и возвращаем хозяину…

Это было в те дни, когда Слоним работал над портретом отца. Уходя после очередного сеанса, он прятал свою работу в картонный ящик и ставил его под папин рояль. Специального пластилина для детей тогда не существовало, и вот мы с Максимом тайно залезли в ящик и похитили оттуда некоторое количество… Мы, конечно, предполагали, что скульптор пропажи не заметит, но просчитались. Дело кончилось нашим позором и строжайшим выговором от родителей.

Максим:

А я хорошо запомнил, что мы делали с этим пластилином. Мы брали с папиного стола карандаши и на конец каждого из них налепляли такое пластилиновое утолщение, вроде сосиски. Получалось нечто похожее на куриную ногу. У нас это так и называлось — куриные ноги. А потом мы их швыряли так, чтобы они прилипали к стене…

Илья Слоним:

«Шостакович пригласил меня в свою студию. Вся мебель состояла из рояля, стола с чернильницей и стула… До моего прихода он работал… и я начал извиняться. „Вы мне нисколько не помешали, никто не может мне помешать, когда я работаю“, — сказал Шостакович. Я тогда подумал, что он сказал это просто из вежливости, но я вспомнил об этом, когда стал свидетелем такой сцены: Шостакович работает у стола, а его дети (четырех и шести лет) кувыркаются по всей комнате (и надо отдать им справедливость, это дети,

которых не только видно, но и слышно). Затем следует такой диалог:

— Папа, пап!

— Ну что?

— Папа, что ты делаешь, папа!

— Пишу.

Тридцать секунд молчания.

— Папа! А что ты пишешь, папа?

— Музыку…

…За все время, что мы с ним разговаривали, он ни секунды не сидел спокойно, он беспрерывно выходил из комнаты и возвращался обратно»

(«Советская музыка», 1980, № 6).

III

Галина:

Из окна высовывается разъяренный человек и громко кричит нам, детям:

— Я вам сейчас уши оборву!.. Я родителям пожалуюсь! Чтобы я вас тут не видел!

Это — Сергей Сергеевич Прокофьев. Мы частенько играли под окном его комнаты, шумели и мешали ему сочинять музыку.

Происходило это летом 1943 года в Иванове, вернее, в Доме творчества и отдыха композиторов возле этого города. Там была деревня Горино и в ней птицесовхоз № 69. При нем-то и был организован этот самый дом, дабы именитые музыканты не бедствовали в голодные военные годы.

Когда-то в Горине была усадьба — господский дом, парк, конюшни, скотный двор… А во времена, о которых я веду рассказ, кроме композиторов, исполнителей и музыковедов там обитали лошади, коровы, свиньи и великое множество кур… А вокруг — лес, луга, поля, речка Харинка…

Начиная с 1943 года наша семья подолгу жила в этом красивейшем месте. У меня сохранился альбом с фотографиями, их делала моя мама: отец и я на стоге сена; отец с маленьким поросенком на руках; мы с Максимом на лугу среди цветов…

Максим:

Я очень хорошо помню, как мы дразнили Прокофьева. Он жил в главном, каменном доме, и окно его комнаты бывало настежь распахнуто. Мы потихоньку приближались, а потом начинали кричать:

— Сергей Сергеич, тра-та-та! Сергей Сергеич, тра-та-та!

И тут в нас летело пресс-папье и еще какие-то предметы. «Уши оборву!» этот крик я до сих пор слышу.

Композитор Арам Хачатурян о Восьмой симфонии Шостаковича:

«Помню, что он работал над этим сочинением в

небольшом сарайчике, куда втиснули пианино. Любопытно, что, пока он не закончил партитуру, никто никогда не слышал из его „кабинета“ ни одного звука. Он писал ее за маленьким столиком, прибитым к стене, почти не притрагиваясь к инструменту»

(Хачатурян А. Страницы жизни и творчества, из бесед с Г. М. Шнеерсоном. М., 1982, стр. 21).

Максим:

Я вспоминаю отца, сидящего на высоком стуле. Это — волейбольная площадка, обитатели Дома творчества бьют по мячу, а Шостакович судит игру.

Композитор Николай Пейко:

«Мы, молодые композиторы, жили в большом доме в одной общей комнате, отгороженной от столовой простынями. Ровно в пять, ни минутой позже, простыни раздвигались, в щель просовывалась голова Д. Д. (Шостаковича), и он изрекал по-английски: „It is time to play volley-ball“. (Пора идти играть в волейбол.) И добавлял любимую фразу спортивного комментатора тех лет Вадима Синявского: „Матч состоится при любой погоде!“»

(Петрушанская Р. И. Дом творчества Иваново. М., 1983, стр. 18).

Максим:

Жившие в Горине композиторы делились на три категории — сообразно своему таланту и месту, занимаемому в советской музыкальной иерархии. И был такой порядок: каждому уезжающему из Дома творчества выдавались куриные яйца — 50, 40 или 30 штук. Это зависело именно от категории, которая была присвоена данному индивидууму. И Шостакович, который, разумеется, входил в первый разряд, бывало, смущался, если одновременно с ним получал свою порцию какой-нибудь третьеразрядный коллега.

И еще такая деталь. Чтобы попасть в деревню Горино, с поезда надо было сходить на станции, которая называлась Иваново-сортировочная. Так вот С. С. Прокофьев в отсылаемых оттуда письмах делал пометку: «Иваново-сортир».

IV

Галина:

Мы, несколько девочек, выходим на середину комнаты и синхронно произносим:

— Э!..

Мы — участницы игры в шарады и должны изображать имя — Эразм Роттердамский. Первая часть: произносим «Э» — разом. А вторая часть такая: некто «рот тер дамский». Этот некто — юный Мстислав Ростропович, а дама, чей рот он тер, была я…

Происходило это во время школьных зимних каникул все в том же птицесовхозе № 69, то бишь в Доме творчества и отдыха композиторов. Там наше семейство и познакомилось с будущей знаменитостью. Ростроповичу предстояло стать весьма близким нам человеком, а потом и соседом по даче в Жуковке.

Той памятной мне зимою мы с Максимом катались с горки на лыжах, и происходило это под надзором Ростроповича, было у него такое поручение от наших родителей.

V

Галина:

Мы с Максимом стоим в кабинете отца, и он произносит:

— Улица Кирова, дом 21, квартира 48. Телефон К5-98-72. Запомнили? Повтори! И ты повтори!..

Нас только что привезли в квартиру, которую отец получил в Москве. И он требовал, чтобы мы назубок знали свой новый адрес и телефон. Вдруг потеряемся, и тогда без этого не обойтись.

Я хорошо помню нашу первую московскую квартиру — дом был старый, с высокими потолками, стоял он во дворе, прямо против Главного почтамта.

VI

Максим:

Из радиоприемника доносится бодрый голос:

— Так! Ноги — на ширине плеч! Первое упражнение…

Еще раннее утро, в окнах зимняя тьма, а мы — папа, Галя и я — делаем наклоны и размахиваем руками под аккомпанемент невидимого рояля.

Поскольку отец весьма заботился о нашем с сестрою здоровье, он поднимал нас с постелей и заставлял заниматься гимнастикой. Я это очень хорошо помню, я даже не забыл фамилию человека, который вел по радио эти передачи: Гордеев.

Галина:

Еще до войны, в Ленинграде, нас лечил известный детский врач Александр Федорович Тур. А когда он приезжал в Москву, то непременно заходил к нам домой и внимательнейшим образом осматривал и меня, и Максима. Все рекомендации, которые давал этот доктор, наши родители старались выполнять неукоснительно. Так, по совету Александра Федоровича были для нас куплены велосипеды.

VII

Максим:

Оркестр умолк, и дирижер обернулся к нам.

— Очень хорошо, очень хорошо, — говорит отец своей обычной скороговоркой.

И репетиция Восьмой симфонии продолжается.

Это было в Ленинграде весной 1946 года. Я был еще маленьким, но отец взял меня на одну из репетиций, и я запомнил это на всю жизнь. За пультом стоял Евгений Александрович Мравинский, и я с восхищением смотрел на него, на то, как он управлялся с оркестром… И вот тогда, именно тогда я твердо решил: когда вырасту, буду дирижером.

Я часто присутствовал на репетициях, куда приглашали моего отца. Он делал очень мало замечаний. Обычно это были лишь четыре слова: «громче», «тише», «медленнее», «быстрее». Иногда он мог сказать и что-то большее, но лишь тем музыкантам, которым он доверял, в чьем мастерстве и таланте не сомневался. Если же исполнитель ему был не по душе, он мог отделаться лишь такими словами:

— Пошли дальше, пошли дальше…

Дирижер Александр Гаук:

«На репетициях Дмитрий Дмитриевич всегда спокойно (это, конечно, было внешним спокойствием) сидел в зале. Он не позволял себе никаких выкриков или нервничания, хорошо понимая, что репетиции служат для того, чтобы разучить новое произведение и ни в коем случае не являются показом. Все свои замечания он делал всегда в антракте и в самом деликатном тоне. Только в том случае, когда он находил описку (в нотах), он позволял себе подходить к пульту, терпеливо ожидая ближайшей остановки, и тихонечко указывал на ошибку. Он всегда был предельно скромен. Многому могли бы в этом отношении у него поучиться другие композиторы, которые требуют, чтобы оркестр и дирижер сразу же на первой репетиции исполняли сочинение, как на концерте»

(Сб. «Александр Васильевич Гаук», М., 1975, стр. 126).

Хоровой дирижер Клавдий Птица:

«Вспоминается, как восторженно рассказывал Александр Васильевич (Гаук) о необычайном музыкальном слухе Шостаковича.

На репетиции одной из симфоний Шостаковича, в Большом зале консерватории, когда шло первое Allegro, Александр Васильевич, стоящий за пультом, оглянулся и увидел, что композитор, болезненно сморщившись, спешит к нему: „Александр Васильевич, — говорил Дмитрий Дмитриевич, — второй скрипач на третьем пульте первых скрипок сыграл вместо *фа — фа-диез*“.

Так оно и оказалось»

(там же, стр. 198).

Максим:

В сентябре 1962 года мы с отцом были в Эдинбурге на фестивале. Я помню одну из репетиций, польский оркестр играл Восьмую симфонию. Там есть соло трубы, довольно продолжительное. И оркестрант сыграл это весьма фривольно, совсем не в том характере, что хотелось бы автору. Шостакович сидел в первом ряду и морщился. А дирижеру, наоборот, это очень понравилось, он повернулся к моему отцу и самодовольно спросил: «Добже?» И в ответ Шостакович крикнул ему, тоже по-польски: «Дуже не добже!»

VIII

Галина:

В послевоенном Комарове, то есть тогда еще в Келомяках, были широкие ровные дороги, которые строили финны, а кроме того — великое множество узеньких тропинок, они вьются между деревьями.

Во время велосипедных путешествий отец прививал нам культуру движения. Например, учил при каждом повороте показывать рукою ту сторону, куда собираешься свернуть, хотя на безлюдных и извилистых лесных дорожках это выглядело чрезмерной предосторожностью.

IX

Максим:

Возле нашей дачи на скамейке сидит человек в поношенной и застиранной военной форме. Вид у него жалкий, он озирается и поглощает ломоть хлеба, держа его обеими руками… А я поглядываю на него с любопытством и затаенным страхом, ведь он — немец, фашист, пленный солдат германской армии.

Это — одно из самых первых моих воспоминаний о Комарове. В те времена шло строительство Приморского шоссе, и на этих работах были заняты пленные немцы. Один из них иногда подходил к нашей даче и, ужасно стесняясь, просил подаяния.

И вот однажды, когда я глядел на него, сидящего на нашей скамейке, ко мне приблизился отец. Он погладил меня по голове и стал говорить тихим голосом:

— Не бойся, ты его не бойся… Он — жертва войны. Война делает несчастными миллионы людей. Ведь он не виноват, что его забрали в армию и погнали воевать на русский фронт, в мясорубку. Ему еще повезло, он остался жив и попал в плен. А там, в Германии, его ждет жена. И, наверное, у них есть дети, такие же, как вы с Галей…

Наш отец ненавидел всякое насилие, а уж тем паче войну. Он иногда вспоминал старый, дореволюционный анекдот. Еврея из местечка взяли в армию и отправили на фронт. И как только раздались выстрелы противника, этот человек выскочил из окопа и закричал в сторону стрелявших немцев:

— Что вы делаете?! Здесь же живые люди!

Когда Шостакович рассказывал этот анекдот, он не улыбался, не смеялся… У него было трагическое выражение лица.

X

Галина:

В 1946 году была возобновлена аренда комаровской дачи, и с тех пор мы всякое лето жили на Карельском перешейке. Это был тот же самый просторный дом на Большом проспекте, который наша семья занимала еще до войны. Он стоит и по сю пору. В те годы поселок был немноголюдным и гораздо более уютным, чем теперь.

Письмо Шостаковича другу Льву Арнштаму:

«Я живу прекрасно. Наслаждаюсь природой. Здесь хорошо, хотя и бывают дожди. Довольно часто бываю в городе. Интересует меня проблема легкого заработка, так как мои средства к существованию иссякли. Привыкши жить на широкую ногу, испытываю несомненное неудобство, переходя на узкую ногу. В шагу… жмет, как говорят работники иглы»

(Хентова, стр. 231).

XI

Галина:

Я притаилась в кустах, а Максим лежит на дороге возле своего брошенного на землю велосипеда… Это воспоминание до сих пор заставляет меня стыдиться, хотя с тех пор минуло более пятидесяти лет.

Происходило это в Комарове, около нашей дачи. Родители ушли к кому-то в гости, а мы с братом были предоставлены самим себе. Мы еще были маленькие и глупые, и вот Максиму пришло в голову подшутить над мамой и папой. Дескать, он катался на велосипеде, и его сбила машина. И когда мы издали увидели возвращающихся родителей, брат улегся на дороге, приняв позу самую неестественную.

Легко себе представить, какова была реакция отца и матери. Они вовсе не смеялись нашему «остроумию», и мы оба были строго наказаны.

Вообще-то я никаких особенных наказаний не припомню. Если мы с братом были виноваты, мама укоризненно смотрела на нас, а отец начинал нервничать, курил… В определенном смысле это действовало сильнее криков и нотаций.

Максим:

Если я совершал какой-нибудь проступок, отец ужасно расстраивался… А когда что-нибудь такое повторялось, он произносил фразу, которая очень пугала:

— Зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет, мне надо с тобой серьезно поговорить…

Я шел туда. Он мне говорил:

— Ты несколько раз обещал мне этого не делать, и вот опять… — Тут он доставал чистый лист бумаги и говорил: — Пиши: я больше никогда не буду делать того-то и того-то… Так… Теперь распишись… Поставь сегодняшнее число.

Потом этот лист убирался в стол. И вот если я еще раз совершал такой проступок, он опять звал меня в кабинет, доставал мою расписку и говорил:

— Вот твоя подпись, ты опять нарушил свое обещание…

И тут уже бывало так стыдно, не передать…

Отец терпеть не мог моих школьных и дворовых привычек. А

в те времена мы все время друг с другом менялись — перочинные ножи, рогатки и прочее в этом роде. И я помню, как давал такое письменное обязательство: «Не приносить домой предметов, принадлежащих другим лицам».

И еще я прибегаю домой:

— Папа, всего за тридцать рублей продается духовое ружье!

Он говорит:

— А мне его и за две копейки не надо!

Он реально себе представил, что будет у нас в доме, если я начну стрелять из духового ружья.

XII

Галина:

Отец появляется в дверях:

— Кто взял мой красный карандаш?

Или:

— Где моя линейка?

Мы с Максимом смущенно переглядываемся и начинаем искать пропажу…

Подобные сцены повторялись и в Москве, и на даче… Как известно, Шостакович сочинял музыку без рояля — он сидел за столом и писал ноты. И тут не требовалось соблюдать какую-то особенную тишину: могла залаять собака, проехать машина… Единственное, что его раздражало, — нарушение порядка. У него на рабочем столе лежали карандаши, ручка, линейка… А мы с Максимом то и дело таскали у него эти предметы.

Максим:

Шостакович не сочинял музыку в прямом смысле этого слова, он слышал ее каким-то своим внутренним слухом и фиксировал это на бумаге.

Постановщик фильма-оперетты «Черемушки» Герберт Раппапорт:

«Я пришел к нему вечером в гостиницу „Европейская“. Застал гостей. Шостакович за столом что-то писал, отвечая на шутки. Всем было весело, мне грустно, потому что надежда получить музыку пропадала. Шостакович продолжал писать и разговаривал. Я поднялся, чтобы уйти. „Куда же вы?“ — спросил Шостакович и протянул мне только что записанные нотные листы — новые фрагменты для „Черемушек“. Так я оказался свидетелем чуда рождения музыки гением. Это были лучшие фрагменты…»

(Хентова, стр. 343).

XIII

Максим:

Когда я был маленький, я часто наблюдал, как отец сочиняет музыку. Он сидит и пишет. Я брал у него нотную бумагу и, подражая ему, начинал изображать точки с хвостиками… Потом я подходил к отцу и говорил: «А теперь сыграй, что я написал». Отец безропотно садился за рояль и пытался исполнять ту музыкальную абракадабру, которая выходила из-под моего детского пера… Разумеется, мне такая музыка не нравилась, поскольку он честно играл именно то, что там было… А он мне объяснял: «Для того, чтобы сочинять настоящую, хорошую музыку, надо долго и упорно учиться». А на мой вопрос: «А как учиться?» — он неизменно говорил: «Для начала напиши вариации».

XIV

Галина:

Мне вспоминается ясный весенний день. В кабинете отца раскрыта форточка, и мне слышны голоса резвящихся на дворе детей. А я сижу за роялем, играю развеселую полечку, и по лицу моему текут горькие слезы…

В это время в комнату вошел отец. Мои слезы в сочетании с беззаботным напевом произвели на него впечатление, и с того самого дня прекратились мучительные для меня уроки музыки. Это стало уделом лишь брата Максима.

Сомнения в моей пригодности к музыкальной карьере появились у отца несколько ранее. Как только нас стали учить игре на рояле, он стал сочинять специальные пиески для детей.

Первая из них была попроще, а вторая несколько сложнее. Отец решил их издать, но для этого опусы должны были быть приняты специальной комиссией в Союзе композиторов. И вот он решил, что играть там их буду я.

Помнится, первую пиесу я сыграла без запинки, а на второй сбилась… Начала еще раз — и опять сбилась…

Тут отец не выдержал и заявил:

— Она все забыла… Я сейчас сам доиграю.

И он уселся на мое место у рояля.

До сих пор не могу забыть этот конфуз.

XV

Максим:

В широком пролете раскачивается огромный концертный рояль… Кажется, что он сейчас упадет или ударится об одну из лестниц. Шостакович хватается рукою за голову и покидает подъезд, выходит на улицу…

Так происходило наше переселение с улицы Кирова на Можайское шоссе. В 1947 году советское правительство издало распоряжение о том, чтобы предоставить Шостаковичу квартиру в новом доме на Можайском шоссе и дачу в подмосковном Болшеве. Квартира была даже не одна, а две — их объединили. Вот тогда-то была наконец доставлена в Москву та мебель, что стояла в ленинградской квартире, в том числе два рояля — один концертный, побольше, а другой — кабинетный, поменьше. Их было затруднительно тащить на четвертый этаж, и тогда рабочие прибегли к помощи канатов и лебедки.

Кстати сказать, теперь концертный рояль отца снова вернулся на «брега Невы». По моей просьбе его реставрировали, и теперь он стоит в моей петербургской квартире.

XVI

Галина:

Я сижу рядом с отцом на скамейке и ужасно скучаю, в голове только одна мысль: «Когда это кончится?» А родитель мой оживлен, увлечен, азартен…

Это воспоминание относится к тому далекому дню, когда отец взял меня с собою на футбольный матч. Мне там было совершенно неинтересно, я в этой игре ничего не понимала, да и не стремилась понимать…

И вдруг на поле произошло нечто такое, что развлекло и рассмешило меня: от сильнейшего удара сломалась штанга ворот. На поле — замешательство, а на трибунах — невероятный восторг и крики. Вот почему я так надолго запомнила свой единственный поход на стадион.

А отец всю свою жизнь был горячим поклонником футбола. Он не только помнил фамилии игроков нескольких поколений, но и вел какие-то записи, составлял для себя статистику матчей. И будь он сейчас жив, я уверена, ему бы не составляло особенного труда ответить на вопрос: в каком году, в какой день и на каком именно стадионе была эта запомнившаяся мне игра.

Софья Хентова:

«…увлекаясь футболом, Шостакович мечтал написать гимн этому виду спорта, а когда появился футбольный марш М. Блантера, с гордостью объявлял: „Вот что наш Мотя сочинил!“ На почве футбола то и дело происходили случаи забавные.

Футбол свел с Константином Есениным — пасынком Мейерхольда, помнившим Шостаковича со времен, когда композитор писал музыку к спектаклю „Клоп“.

Ознакомившись с очередной статьей Константина Есенина, поднявшего футбольную статистику на высоту поэзии, изложил ему письмом свои фактические поправки. Почерк, по обыкновению, был малоразборчив, подпись неясна, и Есенин раздраженно позвонил по указанному в письме телефону:

— Есть у вас старичок, интересующийся футболом?

— Есть, — ответил женский голос, — сейчас позову.

Есенин вступил в запальчивую полемику с дотошным „старичком“. В конце разговора спросил:

— Как ваша фамилия?

И, услышав робкое „Шостакович“, обомлел»

(Хентова, стр. 288).

Максим:

Между прочим, папа был не только великим знатоком футбола, он был дипломированный футбольный судья. Это звание было ему присвоено еще до войны, в Ленинграде. Он знал правила спортивных игр назубок, любил судить состязания.

Галина:

В пятидесятых годах отец отдыхал в правительственном санатории в Крыму, и там ему довелось судить теннисные соревнования. Среди тех, кто ежедневно выступал на кортах, был генерал армии Иван Александрович Серов, который тогда занимал должность председателя КГБ. Так вот, если главный чекист делал какой-нибудь промах, а потом выражал претензии, Шостакович неизменно останавливал его такой фразой: «С судьей не спорят». И отец признавался: говорить эту сентенцию в лицо председателю КГБ было для него истинным наслаждением.

XVII

Максим:

Стол накрыт белой скатертью и сервирован с большим изяществом. У бабушки, матери отца — Софьи Васильевны, — парадный обед. Среди приглашенных наши родители, мы с сестрой и самый главный гость — Михаил Михайлович Зощенко.

Помнится, во время этого обеда я смотрел на него с особенным любопытством. Отец часто говорил о нем, цитировал его рассказы… И притом упоминал, что Зощенко очень смешно пишет, но сам никогда не улыбается…

Михаил Михайлович был дружен с бабушкой Софьей Васильевной, он высоко ценил и уважал Шостаковича. Наш отец отвечал ему взаимностью, однако же особенной душевной близости у них не было, слишком разные это были характеры.

И вот еще какое соображение. Зощенко был довольно далек от музыкального мира и по этой причине не мог оценить в полной мере композиторский талант Шостаковича. В противоположность этому наш отец прекрасно знал русскую литературу, очень любил Гоголя, Достоевского, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Чехова и, разумеется, понимал все величие Зощенки.

Михаил Зощенко — Мариэтте Шагинян:

«Я очень люблю Д. Дм. Он Вам правильно сказал, что я хорошо к нему отношусь. Я знаю его давно, лет, вероятно, 15–16. Но дружбы у нас не получилось. Впрочем, я не искал этой дружбы, потому что видел, что этого не могло быть. Всякий раз, когда мы оставались вдвоем, нам было нелегко. Наши токи не соединялись. Они производили взрыв. Мы оба чрезвычайно нервничали (внутренне, конечно). И хотя мы встречались часто, нам ни разу не удалось по-настоящему и тепло поговорить»

(Письмо от 4 января 1941 года — «Новый мир», 1982, № 12).

Максим:

В 1946 году Зощенко был ошельмован в постановлении ЦК Коммунистической партии, и отец принял произошедшее очень близко к сердцу. Исаак Давыдович Гликман свидетельствует, что в десятилетнюю годовщину со дня смерти Зощенки они с Шостаковичем поехали на его могилу в Сестрорецк. Гликман запомнил такие слова нашего отца:

— Он безвременно умер, но как хорошо, что он пережил своих палачей Сталина и Жданова.

А еще я помню, как отец время от времени произносил такую фразу:

— Все, что угодно, отдам за шеститомник Зощенки.

Галина:

Наша бабушка Софья Васильевна была очень активным человеком. В 1946 году она взялась помогать Зощенке, собирала для него деньги — ведь его совершенно перестали печатать и лишили средств к существованию… Бабушка была общительная, веселая, часто бывала на концертах, и не только когда играли Шостаковича. Она прекрасно знала литературу, интересы у нее были самые разнообразные. Дома у нее — полно народу, кто-то приходит, кто-то уходит… Обязательно кто-то ночует. Она была собирательницей людей…

И в этом отношении она была полной противоположностью своему сыну. Шостакович по натуре не был ни общительным, ни разговорчивым. Посторонние люди, если они присутствовали в доме, создавали для него некое неудобство. Он с детства учил нас правилам общения с друзьями и знакомыми:

— Никому нельзя звонить после десяти вечера или ранее десяти утра. Нельзя приходить в гости без звонка или приглашения. Если вам говорят: «Как-нибудь заезжайте», — это еще не означает, что вас пригласили. Приглашают на определенное число и к определенному часу.

Вот он сам зовет кого-нибудь из друзей на обед. Например, Хачатуряна с женой. За столом обстановка самая непринужденная — шутки, смех… Но застолье не может быть бесконечным — если обед начался, предположим, в 15 часов, то в 17 он закончится. И все друзья это прекрасно понимали. Для тех, кто засиживался сверх всякой меры, у нас в семье был специальный термин: «каменный гость». А еще отец иногда говорил: «Бойся гостя не сидящего, а уходящего». Он очень не любил, когда кто-то уже

стоит в прихожей и продолжает разговаривать.

Притом мама наша была общительным человеком. Я вспоминаю дачу в Комарове. На первом этаже мама сидит с гостями, а отец наверху сочиняет музыку. Вот он спускается вниз, присаживается к столу, прислушивается к разговору… А минуты через три опять уходит к себе на второй этаж.

XVIII

Максим:

В прежние годы в Комарове существовал так называемый Детский оздоровительный сектор. И вот как-то раз у меня заболел зуб, отец взял меня за руку и повел в этот самый сектор. Там был дантист, меня поместили в кресло, а папа уселся возле двери в кабинет этого врача. День, я помню, был жаркий, и окно было открыто.

И вот началось сверление моего зуба, тут я почувствовал боль неимоверную… Терпеть не было сил, я выскользнул из кресла, рванулся к окну, выскочил наружу и помчался домой — на нашу дачу. А отец, весьма обескураженный происшедшим, вернулся несколько позже.

Потом он признался, что с ним, уже взрослым, был такой в точности случай. Некий дантист тоже причинил ему сильную боль, Шостакович оттолкнул врача ногами и, подобно мне, удрал из лечебницы. Но это совершенно нетипичное происшествие. Будучи человеком по натуре весьма аккуратным, наш отец надо не надо раз в два месяца шел на прием к дантисту… С такой же регулярностью он посещал и парикмахерскую. На письменном столе у него был перекидной календарь, где загодя были отмечены дни, в которые надлежит проверять состояние зубов или стричь волосы.

Галина:

В этом настольном календаре были отмечены дни рождения родственников, друзей, коллег, и отец никогда не забывал отправлять им поздравительные телеграммы и открытки. Он внимательно следил за четкостью работы почты. Когда появилась подмосковная дача, он отправил туда открытку на собственное имя, дабы проверить, дойдет ли она туда и как скоро.

Максим:

Как известно, Шостакович, что называется, не играл в «гениальность», это ему претило. Он никогда не сохранял ни своих, ни чужих писем, а уж тем паче выкидывал в корзину

листки своего календаря. И теперь можно только пожалеть об этом. Ведь там были записаны не только дни рождения друзей и рутинные дела, но и то, что относилось к творчеству. Например, исправить в таком-то опусе такое-то место… Проверить партию альта и т. д.

XIX

Галина:

Отец ходит по квартире из комнаты в комнату и непрерывно курит. С мамой они не разговаривают. Мы с Максимом тоже молчим, в такие моменты вопросы задавать не принято…

Это — зима 1948 года. Мне почти двенадцать, Максиму — десять. Мы знали, что во всех газетах превозносят «историческое постановление Центрального Комитета партии „Об опере „Великая дружба“ В. Мурадели», а музыку Шостаковича и прочих «формалистов» бранят на все лады.

Максим учился в музыкальной школе, а там «историческое постановление» штудировалось. Учитывая это, родители решили, что лучше ему некоторое время в класс не ходить. По этой причине я ему завидовала. У меня-то была самая обычная советская школа, и на уроках в нашем шестом классе о постановлении ЦК даже и не упоминали.

А последствия этого «исторического документа» ждать себя не заставили: симфонические оркестры перестали исполнять сочинения Шостаковича, и, чтобы кормить семью, отец был принужден писать музыку к кинофильмам, а этого он, надо сказать, не любил. Кроме того, его изгнали из преподавательского состава консерватории, и наша семья была лишена возможности пользоваться правительственной поликлиникой.

Атмосфера в те дни была очень тревожная…

Максим:

Когда мы были маленькими, то иногда обращались к отцу с вопросом: куда пропал такой-то наш знакомый или такой-то? У него для нас был весьма короткий ответ: «Он хотел восстановить капитализм в России…» Но как только мы немного подросли, стали разбираться в ситуации. Был арестован и погиб муж старшей сестры отца Всеволод Фредерикс, а его жена, наша тетка Мария Димитриевна, была выслана из Ленинграда. В свое время подвергалась аресту и наша бабушка со стороны матери — Софья Михайловна Варзар…

Начиная с тридцатых годов и до самой смерти Сталина Шостакович жил под угрозой ареста и гибели. От этого не могла спасти ни лояльность режиму, ни гениальная одаренность —

судьба поэта Осипа Мандельштама или режиссера Всеволода Мейерхольда — наглядный пример.

Как известно, среди поклонников Шостаковича был расстрелянный по приказу Сталина маршал Михаил Тухачевский, они иногда с отцом общались. Композитор Вениамин Баснер рассказал мне со слов отца такую историю. Однажды после того, как Шостакович побывал в гостях у Тухачевского, его вызвали в Большой дом, то есть в ленинградское управление НКВД. На допросе следователь его спросил: «Вы были у Тухачевского. Вы слышали, как Тухачевский обсуждал с гостями план убийства товарища Сталина?» Отец стал отнекиваться… «А вы подумайте, вы припомните, — говорит следователь. — Некоторые из тех, кто были с вами в гостях у Тухачевского, уже дали нам показания». Отец продолжал утверждать, что ничего такого не было, что он ничего не помнит… «А я вам настоятельно рекомендую вспомнить этот разговор, — сказал следователь с угрозой. — Я даю вам срок до одиннадцати часов утра. Завтра придете ко мне еще раз, и мы продолжим беседу…» Отец вернулся домой ни жив ни мертв. Он решил, что показаний против Тухачевского не даст, и стал готовиться к аресту. Утром он снова явился в Большой дом, получил пропуск и уселся возле кабинета того самого следователя. Проходит час, другой, а его не вызывают… Наконец какой-то чекист, который шел по коридору, обратился к нему: «Что вы тут сидите? Я смотрю, вы здесь уже очень давно…» — «Жду, — отвечает отец. — Меня должен вызвать следователь Н.». — «Н.? — переспросил чекист. — Ну, его вы не дождетесь. Его вчера ночью арестовали. Отправляйтесь-ка домой». Так что без преувеличения можно утверждать: Шостакович чудом избежал ареста.

XX

Галина:

«Дом отдыха суда и прокуратуры» — такая вывеска красовалась на старом финском доме, который соседствовал с нашей дачей в Комарове. А потом это заведение стало именоваться по-другому — Дом отдыха госучреждений. Но эта перемена никак не отразилась на интеллектуальном и нравственном уровне тех, кто там пребывал, а именно — мелкие служащие так называемых карательных органов. То есть соседство было не из приятных, в особенности это проявилось летом 1948 года, когда Шостакович был ошельмован во всех советских газетах и объявлен «формалистом», почти что «врагом народа».

Работники «госучреждений» в выражении своих верноподданнических чувств нисколько не стеснялись: из-за забора доносились оскорбительные выкрики и на наш участок швыряли всякую дрянь… И тут надо отдать должное Максиму — он вступался за честь отца.

Максим:

В те годы еще свежа была память о советско-финской войне, которая проходила именно в тех местах, где была наша дача, — на Карельском перешейке. Мы знали, что самую большую опасность для советских солдат во время той войны представляли финские снайперы. Их называли «кукушками», поскольку они прятались в кронах деревьев и обнаруживать их было чрезвычайно трудно.

На нашем комаровском участке была высокая сосна, ствол которой был раздвоен у вершины. Именно там я укрепил небольшую доску, чтобы сидеть, и соорудил себе рогатку, из нее я стрелял камнями в наших обидчиков.

Но зловредные соседи досаждали Шостаковичу не только бранными криками. На их участке был громкоговоритель, который оглашал окрестности с шести часов утра и до двенадцати ночи, там звучали помпезно-хвастливые советские радиопрограммы. Это мешало моему отцу сочинять музыку, и мне приходилось стрелять из рогатки не только по самим соседям, но и по репродуктору. Иногда мне удавалось выводить его из строя,

и он на какое-то время умолкал.

XXI

Галина:

Я шепотом произношу названия букв:

— Ша… Бэ… Эм… Эн… Ка…

Отец прижимает палец к губам и тихо говорит мне:

— Молчи!..

Мы — в полутьме медицинского кабинета. Отцу проверяют зрение с помощью специальных таблиц, а я по школьной привычке выручаю его — подсказываю буквы.

Эта забавная сценка происходила в начале 1949 года в так называемой «кремлевке» — правительственной поликлинике. Нашему появлению там предшествовала целая история. В марте того же года большая группа деятелей советской науки и искусства должна была ехать в Соединенные Штаты, и было решено включить в эту делегацию Шостаковича. А он вообще не любил такие поездки, от этой же хотел уклониться еще и по той причине, что был очередной раз ошельмован: в течение целого года его ругательски ругали в прессе и на всех официальных собраниях. (В феврале 1948-го вышло «постановление ЦК», где осуждались все «формалисты», к которым был причислен и Шостакович.)

И тогда случилась вещь беспрецедентная — 16 марта отцу позвонил по телефону сам Сталин. Шостакович стал отказываться от поездки, дескать, ехать ему неудобно, так как существует запрет на исполнение его музыки. И Сталин тут же запрет отменил. Но разговор на этом не кончился, все еще пытаясь уклониться от путешествия в Америку, отец сказал:

— Я плохо себя чувствую… Я болен…

Тогда Сталин спросил:

— Где вы лечитесь?

Ответ был такой:

— В обычной поликлинике…

Разговор продолжался, но эти три реплики не остались без последствий. Я уже упоминала, одним из результатов «постановления ЦК» 1948 года было то, что нашу семью лишили права пользования так называемой «кремлевкой» — поликлиникой для правительства. Так вот, в тот же день, когда Шостакович разговаривал со Сталиным, начались оттуда звонки: требовали заполнить анкеты, предоставить наши фотографии и, главное, немедленно явиться к ним всей семьей, дабы пройти

полное обследование. И посещение окулиста, во время которого я пыталась помочь отцу подсказками, состоялось по случаю нашего возвращения в число пациентов «кремлевки».

Как я теперь понимаю, наше изгнание из правительственной поликлиники произошло по инициативе не в меру ретивых мелких чиновников, а поспешное восстановление — по прямому указанию «великого вождя».

Максим:

Когда отцу позвонил Сталин, дома были папа, мама и я. Отец говорил из своего кабинета, а мама слушала этот разговор по другому аппарату, который стоял в прихожей. И я умолял ее, чтобы она дала мне трубку, ужасно хотелось услышать голос живого Сталина… И я ее упросил, мне довелось услышать несколько фраз из их с отцом разговора.

Как известно, поездка Шостаковича в Америку в 1949 году состоялась. Официально он был членом советской делегации, которая прибыла на Всеамериканский конгресс деятелей науки и культуры в защиту мира. Кроме нашего отца в Соединенные Штаты приехали писатели, кинорежиссеры, ученые… По причине своей застенчивости и скромности Шостакович никогда не говорил о некоторых подробностях своего путешествия за океан. Но писатель Александр Александрович Фадеев, который был в составе той делегации, в свое время рассказывал друзьям о том, как в Америке принимали знаменитого композитора.

Начать с того, что на аэродроме в Нью-Йорке Шостаковича приветствовали несколько тысяч музыкантов. Самую группу тех деятелей, что приехали из Советского Союза, в прессе именовали так: «Дмитрий Шостакович и сопровождающие его лица». Американцам довольно трудно произносить нашу фамилию, и они ее переделали на свой лад, отца именовали сокращенно — Шости.

Время от времени ему кричали: «Шости, прыгай, как Касьянкина!» Незадолго до того, как наш отец приехал в Штаты, там разразился скандал. Русская учительница по фамилии Касьянкина, которая работала в школе при советском представительстве, попросила политического убежища. Дипломаты попытались ей воспрепятствовать, они заперли эту женщину в одной из комнат посольства. Но Касьянкина сумела открыть окно и выпрыгнуть на улицу, где ее ожидала толпа американцев.

Увы! — в 1949 году Шостакович не мог даже и помыслить о

том, чтобы последовать примеру Касьянкиной. Он вполне отдавал себе отчет, какая судьба ждала бы нас — его жену и детей — да и всю прочую многочисленную нашу родню, останься он на Западе. Этот шаг довелось совершить мне в 1980 году. Но мои обстоятельства были иными — у моей первой жены уже была другая семья, и со мною был мой тогда еще единственный сын. Да и по части кровожадности брежневский режим был несравним со сталинским. Впрочем, не обо мне тут речь.

А еще Фадеев рассказывал одному из своих приятелей о таком эпизоде. Шостакович зашел в какую-то нью-йоркскую аптеку, чтобы купить аспирин. Он пробыл в магазинчике никак не более десяти минут, но, выходя на улицу, увидел такую картину: один из продавцов выставлял на витрине рекламный щит с надписью: «У нас покупает Дмитрий Шостакович».

XXII

Максим:

И еще об окулистах, это — семейное предание. До войны отец поехал с концертами в Турцию и там заказал себе очки. Через два дня пришел, заплатил деньги. Мастер ему говорит: «Я вам такие замечательные очки сделал». «Спасибо». Тот опять: «Смотрите, какие очки… Вот я их швыряю, они не разобьются…» Он ударил окуляры об пол, и они остались целыми. Отец говорит: «Спасибо, но они мне не для этого нужны». Но тот не дает и снова заявляет: «Я сейчас их еще раз брошу, и опять с ними ничего не будет…» Еще удар — очки не разбились. «И в третий раз я их ударю!» — вскричал мастер, и уж тут стекла разлетелись вдребезги.

XXIII

Галина:

Я помню, как у нас на даче в Комарове гостил Митя Соллертинский. Он был постарше нас с Максимом, учился на одни пятерки, и наши родители ставили Митю нам в пример. Его покойный отец, известнейший профессор-музыковед, был самым близким другом нашего отца. В свое время Шостакович весьма болезненно воспринял безвременную смерть И. И. Соллертинского.

Максим:

Я почему-то не помню, как Митя гостил у нас в Комарове. Но я дружу с ним очень много лет, он долгое время был директором Большого зала Петербургской филармонии. А способности он, конечно же, унаследовал от Ивана Ивановича. Наш отец рассказывал о своем друге вещи невероятные. Соллертинский, например, читал не как все люди — по строчкам, а, глядя в книгу, воспринимал целиком всю страницу… И память у него была феноменальная, он знал не только свой предмет — музыку, но и литературу, философию, всеобщую историю…

Дмитрий Шостакович:

«Большое число ленинградских студентов пришли сдавать экзамен по марксизму-ленинизму, чтобы, сдавши таковой, получить право стать аспирантами. В числе ожидающих вызова в экзаменационную комиссию был и Соллертинский.

Я сильно волновался перед экзаменом. Экзаменовали по алфавиту. Через некоторое время в комиссию был вызван Соллертинский. И очень скоро он вышел оттуда. Я набрался смелости и спросил его: „Скажите, пожалуйста, очень трудный был экзамен?“ Он ответил: „Нет, совсем не трудный“. — „А что у вас спрашивали?“ — „Вопросы были самые простые: зарождение материализма в Древней Греции; поэзия

Софокла как выразитель материалистических тенденций; английские философы XVII столетия и еще что-то“.

Нужно ли говорить, что своим отчетом об экзамене Иван Иванович нагнал на меня немало страху?»

(Шостакович Д. О времени и о себе. М., 1980, стр. 111 112).

Максим:

В качестве анекдота отец вспоминал такую историю. Соллертинскому довелось выступать перед аудиторией каких-то «краснофлотцев». Один из этих морячков задал ему вопрос:

— Правда ли, что жена Пушкина жила с Николаем Вторым? — (Вопрошающий перепутал последнего российского Царя с его прадедом — Николаем I, при дворе которого блистала жена великого поэта.)

Иван Иванович ответил на поставленный вопрос с исчерпывающей точностью:

— Даже если предположить, что Наталия Николаевна Гончарова (в первом замужестве Пушкина) до конца своих дней сохранила женскую привлекательность, а будущий Император, Великий Князь Николай Александрович чрезвычайно рано развился, этого не могло быть. Поскольку Наталия Николаевна скончалась в 1863 году, а Николай Второй родился на пять лет позже — в 1868-м.

XXIV

Галина:

Мы с Максимом мчимся на велосипедах по комаровским дорожкам, мы заглядываем за все заборы и громко кричим:

— Том! Томка! Томка!

Пропал, сбежал наш любимый пес. Это, конечно, и раньше бывало, но всегда доставляло нам массу волнений. Чаще всего мы находили своего беглеца близ какой-нибудь дачи. Например, у знаменитой артистки Екатерины Павловны Корчагиной-Александровской, у нее была собака по имени Кара. Очевидно, старая актриса не раз наблюдала за тем, как мы с Максимом возвращаем своего пса, и она сделала вывод, что в нашей семье собак любят. Иначе невозможно объяснить дальнейшие события.

В 1951 году Корчагина-Александровская скончалась. И тут выяснилось, что имуществом своим она распорядилась так: дачу в Комарове завещала Театральному обществу, антикварную лампу — своей старой подруге, а собаку Кару композитору Шостаковичу.

Надобно заметить, что отец отнесся к этому философски и даже стоически. Я помню, он произнес:

— Хорошо еще, что это — собака, а не какое-нибудь более экзотическое животное. Например, осел или крокодил…

Так Кара попала в нашу семью. Летом она жила на даче в Комарове, а зимою в квартире родителей мамы — Василия Васильевича и Софьи Михайловны Варзар.

Отец хорошо относился к собакам, но у него были претензии к ним по части гигиены. Он морщился, когда видел, что пес с грязными лапами залезает на кровать. Максим и я постоянно слышали окрик:

— Перестань цацкаться с собакой! Пойди вымой руки!

И еще псы своим лаем мешали ему сочинять музыку. А потому он больше любил котов, которые, как известно, тише, чем собаки, да и более опрятны.

Максим:

Отец терпеть не мог злых собак. Я помню, в Жуковке у нас некоторое время жила кавказская овчарка, которая стала бросаться на людей. Как только это у нее проявилось, отец сейчас

же пристроил ее в какую-то военную часть.

Композитор Борис Тищенко приводит такое высказывание Шостаковича:

«И среди собак бывают негодяи. Наш пес загрыз котенка. И хоть бы голоден был — так нет, просто из озорства. Я его выслал в 24 часа»

(Шостакович Д. Статьи и материалы. М., 1976, стр. 101).

Галина:

Я вспоминаю случай в той же Жуковке. Кто-то подбросил маленького котенка, который у нас прижился. Отцу он понравился и даже был допущен в его кабинет. Там стоял стол с выдвижными ящиками, и вот котик как-то залез в один из них и заснул, а тут ящик задвинули. Немного погодя кот проснулся и стал орать. Мы это услышали и принялись искать, откуда доносится мяуканье… В конце концов бедолагу нашли и выпустили наружу.

Ну и чтобы закончить эту кошачью тему, еще такой рассказ. Приятель отца, режиссер Фридрих Эрмлер, построил в Комарове новую дачу и пригласил Шостаковича с семейством полюбоваться на нее. Хозяин водил нас по всему дому: здесь будет камин, здесь — то, здесь — се… Потом было угощение, хороший обед. А тогда в моду стали входить сиамские коты, и Эрмлер как раз себе такого раздобыл, очевидно, купил за большие деньги… А в нашей семье ничего о таких котах еще не знали. И вот, когда мы уходили, на прощание отец сказал гостеприимному хозяину:

— Все у тебя очень хорошо… Только вот кота ты мог бы завести себе получше…

XXV

Галина:

В то лето мы, как обычно, жили в Комарове. Как-то утром отец отправился на колодец за водою, и на него неожиданно напал разъяренный петух… Отец выронил ведро и ретировался.

Этому драматическому эпизоду предшествовала такая история. За год до того нам с Максимом подарили двух крошечных цыплят. Мы поселили их на веранде, а кормили кусочками колбасы и сыра. Эту парочку полюбил даже наш пес Томка, он позволял им клевать из своей миски. К концу лета цыплята подросли и превратились в петушка и курочку. А когда мы уезжали в Москву, то пристроили их к кому-то из соседей.

За зиму курица куда-то пропала, а петух, вскормленный колбасой, вырос, возмужал и стал страшно агрессивным. Когда же мы приехали в Комарово, его опять нам отдали, тут-то и произошло нападение на отца. Он отделался легким испугом, а злобная птица поплатилась жизнью — ее обезглавили и съели.

В те времена каждое утро в Комарове начиналось с того, что отец шел к колодцу с небольшим ведерком. Он жил на втором этаже, и возле его комнаты был такой закуточек с рукомойником — вещь для него абсолютно необходимая. И воду туда отец доставлял самостоятельно.

Максим:

Петух был обречен, поскольку еще до того, как напасть на отца, он бросился на местного почтальона, а это грозило серьезными неприятностями. Пока цыплята были маленькие, Томка их не трогал. Я помню такую сценку: пес ест из своей миски, а петушок клюет из нее с противоположной стороны, и Томка рычит на него, дескать, не забывай, кто тут хозяин.

У отца был приятель, кинорежиссер Леонид Захарович Трауберг, а у того собака, скотчтерьер. И вот как-то Трауберг сообщил, что придет в гости к нам на дачу со своим псом. Отец ему говорит: «Учтите, у нас эрдельтерьер». А Трауберг в ответ: «Ничего страшного, мой себя в обиду не даст». Кончился визит скандально: Томка загнал этого скотчтерьера под дом, там были отверстия в фундаменте… И мы с большим трудом выманили оттуда несчастную, перепуганную собаку.

XXVI

Галина:

В нашей квартире раздается звонок. Отец, слегка волнуясь, сам идет открывать дверь. Вежливо поздоровавшись с вошедшим, хозяин помогает ему снять пальто, и они оба удаляются в кабинет.

С некоторых пор этот невысокий и мрачноватый гость стал появляться у нас регулярно. Происходило это в 1952 году, когда всем «советским людям» предписывалось усердно изучать только что опубликованные работы Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», а также «Экономические проблемы социализма в СССР». Но для Шостаковича сделали исключение. Нет, не освободили от унизительной обязанности, но разрешили не посещать общих занятий в Союзе композиторов и прикрепили к нему индивидуального преподавателя — «товарища Трошина», каковой и появлялся у нас дома.

Занятия проходили так: Трошин задавал именитому ученику вопросы по пройденной теме, проверял предъявляемые ему конспекты, а потом давал новое задание.

В этой трагикомической ситуации отца отчасти выручали два его друга Исаак Давыдович Гликман и Левон Тадевосович Атовмян, именно они конспектировали указанные сочинения Сталина. Бессмысленность этого дела и некую, я бы сказала, ритуальность усугубляло то обстоятельство, что преподаватель притворялся, будто не замечает разницу почерков Гликмана и Атовмяна, которые, конечно, не были похожи на почерк самого Шостаковича.

Кстати сказать, Гликман гостил в нашем доме, когда «тов. Трошин» явился к нам в первый раз, и существует описание этого визита.

Исаак Гликман:

«Визитер внимательно оглядел кабинет, похвалил его устройство и затем в мягкой форме, даже с виноватой улыбкой выразил удивление по поводу того, что не видит на стенах кабинета портрета „товарища Сталина“. Время было тяжелое. Удивление прозвучало

как упрек. Дмитрий Дмитриевич смутился, начал нервно ходить по комнате и выпалил, что он непременно приобретет портрет „товарища Сталина“. (Правда, обещание осталось невыполненным, так как вскоре мода на сталинские портреты прошла.)»

(Сб. «Письма к другу. Дмитрий Шостакович Исааку Гликману». СПб., 1993, стр. 98).

XXVII

Галина:

— Вы мне ответьте на такой вопрос, — говорит наш отец студентке, — что такое ревизионизм?

Это было в тот день, когда Шостаковичу довелось побывать в шкуре преподавателя большевицкой идеологии, вернее, экзаменовать студентов, которые сдавали этот предмет. В консерватории существовал порядок: никто не имел права принимать экзамены самостоятельно, к каждому непременно присоединялся коллега, как правило, сотрудник другой кафедры.

Шел экзамен по марксистской философии. Принимал его специалист по данному предмету, а ассистентом был назначен Шостакович. На экзамене он помалкивал, вопросов не задавал. Но вот марксист по какой-то надобности покинул аудиторию, и отец остался в одиночестве. И тут перед ним уселась девушка, она очень волновалась и теребила листки с ответом на вопросы, которые значились в ее экзаменационном билете.

— Хорошо, — сказал Шостакович, — оставим ваш билет в стороне…

И тут он задал ей свой вопрос о ревизионизме.

Барышня чуть задумалась и произнесла:

— Ревизионизм — это высшая стадия развития марксизма-ленинизма.

Услышав такой ответ, отец сжалился над студенткой. Он поставил ей отнюдь не заслуженную пятерку, и она, окрыленная своим нежданным успехом, удалилась.

После ее ухода в аудиторию вернулся главный экзаменатор, и Шостакович ему сообщил:

— У меня тут отвечала Иванова, я ей поставил отличную оценку.

— Ивановой? — переспросил марксист. — Она вам отвечала на «отлично»?

— Да, — говорит отец, — она все ответила…

— Странно, — сказал тот, — Иванова у меня весь год занималась безобразно…

(Для людей, которым не довелось изучать большевицкую идеологию, требуется пояснение. Ответ этой студентки поверг бы в шок любого специалиста: «ревизионизм» у марксистов примерно то же самое, что «ересь» у христиан.)

Максим:

Мне запомнился другой подобный случай. На таком же экзамене, тоже по марксизму, главный преподаватель сказал Шостаковичу: «Почему вы все время молчите? Задавайте студентам какие-нибудь вопросы…» А в аудитории, где происходил экзамен, на стене висел плакат, на котором были начертаны такие слова: «Искусство принадлежит народу. В. И. Ленин». И прикреплен был этот плакат прямо над головами сидящих за столом экзаменаторов. Так вот Шостакович решил нарушить свое молчание и заодно помочь очередному студенту, он задал такой вопрос:

— Кому принадлежит искусство? Какое мнение на сей счет высказывал Ленин?

Студент попался бестолковый и ответить не мог.

Отец пытался его выручить и движением головы указывал на висящий сзади плакат. Но все усилия Шостаковича оказались тщетными: экзаменуемый так и не понял, что это — подсказка.

XXVIII

Галина:

В телефонной трубке взволнованный голос отца:

— Никуда не ходи, сейчас за тобой придет машина…

Это было 6 или 7 марта 1953 года. Утром сообщили, что умер Сталин, и траурная Москва прощалась с «великим вождем». Мои родители прекрасно понимали, что в такие дни опасно выходить на улицу, но я дома не усидела. Пешком дошла до Красных ворот (вне Садового кольца никакого оцепления не было), зашла к родственникам мамы — Варзарам и оттуда позвонила отцу. Он немедленно выслал автомобиль, который благополучно привез меня домой.

В те дни у нас в семье никакого траура не было. Впрочем, и ликования не наблюдалось. Родители о смерти Сталина вообще не говорили, хотя косвенно эта тема звучала. Как помним, в тот же день, что и всесильный тиран, — 5 марта 1953 года — скончался Сергей Сергеевич Прокофьев. По этой причине у нас дома не умолкал телефон — отцу звонили коллеги-музыканты, и кое-кто из них выражал сожаление:

— Ах, ведь не успел Сергей Сергеевич узнать, что Сталин умер…

Максим:

Я очень хорошо помню тот день. Папа взволнованно ходил по квартире и повторял:

— Сейчас будет Ходынка, сейчас будет Ходынка… Не дай Бог, Галю раздавят… Нельзя было ее отпускать, нельзя было отпускать…

Галина:

Церемония похорон Сталина передавалась по радио. Я помню, как из радиоприемника доносились слова, произносимые с сильным грузинским акцентом:

— Кто не слеп, тот видит…

Это была речь Лаврентия Берии. У нас дома был магнитофон, и наша мама все это записала на пленку. К сожалению, эта лента

потом пропала…

Но я вспоминаю, что отец иногда пародировал голос Берии:

— Кто не слеп, тот видит…

XXIX

Галина:

Мне вспоминается зимний вечер. Отец сидит у стола и раскладывает пасьянс. А я как бы ненароком иду мимо него и начинаю покашливать…

Он смотрит на меня с тревогой и говорит:

— У тебя кашель? Ты простудилась?

— Нет, — говорю я, — пустяки…

У меня и на самом деле никакой простуды нет, но завтра на уроке литературы предстоит писать сочинение, а мне этого очень хочется избежать.

Отец встает из-за стола, прикладывает ладонь к моему лбу и говорит:

— По-моему, у тебя температура. На всякий случай в школу завтра не ходи.

Он всегда очень заботился о нашем здоровье, и мы с Максимом, дело прошлое, этим пользовались.

XXX

Галина:

Отец празднует день своего рождения. Как всегда, горит множество свечей, за столом нарядные гости. Среди них наш сосед по дому на Можайском шоссе, дипломат Владимир Иванович Базыкин с женой Лидией Александровной, дамой весьма эффектной. Эта пара только что вернулась в Москву из Америки, то есть по тем временам — как бы с иной планеты. На стене прямо над мадам Базыкиной было бра с двумя зажженными свечами. Вдруг одна из них потекла, и парафин стал капать на обнаженное плечо нарядной гостьи. Начался переполох, ей оказали помощь, пересадили на безопасное место… Было это году в пятидесятом, еще мама была жива…

У отца было такое правило: на день своего рождения он непременно зажигал столько свечей, сколько ему исполнялось лет. Эта привычка очень нравилась всем друзьям, поскольку раз и навсегда разрешала проблему подарков. Всем было известно: Шостаковичу надо дарить подсвечники, с каждым годом их требуется все больше.

Я помню, накануне очередного дня своего рождения отец куда-то ушел, а потом вернулся с огромным свертком, неся его с превеликой осторожностью… Он поставил свою ношу на стол, снял бумагу, и мы увидели огромный хрустальный шандал, рассчитанный на дюжину свечей. И с той поры этот сверкающий светильник всегда стоял в самом центре праздничного стола.

Всякий раз перед приходом гостей отец возился с многочисленными подсвечниками — аккуратно вставлял свечки, обжигал на них фитили, чтобы все было готово и никакой заминки при возжигании не было. И повсюду были разложены коробки со спичками.

И еще одно воспоминание, связанное с приходом гостей. В нашей квартире на Кутузовском одна из батарей отопления была прикреплена не под окном, а прямо к стене. Когда гости разбредались по квартире, кто-нибудь из пришедших норовил присесть на эту самую батарею. И тут отец начинал нервничать, он говорил какой-нибудь увесистой гостье:

— Очень вас прошу, не садитесь на радиатор. Он может оторваться, и тогда из трубы будет хлестать ржавая горячая вода…

Максим:

Я хочу добавить несколько слов о Лидии Александровне Базыкиной. Она была необычайно хороша собою. Достаточно сказать, что, еще живя в Америке, она была моделью, ее фотографии печатались в модных журналах. Мало того, она была обладательницей прекрасного голоса. Ее муж однажды попросил отца послушать, как она поет. Папа послушал и сказал: «У вас прекрасный голос, вам надо учиться». И она была настолько одаренной, что после обучения стала петь в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Она стала там ведущей певицей, исполняла главные партии во многих операх.

И еще о подсвечниках. Два самых роскошных шандала — бронзовых, с хрустальными подвесками — подарил отцу Арам Хачатурян.

Галина:

Да, вот еще что: отец совершенно не терпел льстивых тостов. Чтобы предотвращать это, едва наполнялись рюмки и бокалы, он тут же сам возглашал:

— Ну, давайте выпьем за мое здоровье…

Арам Хачатурян:

«Особенно трудно хвалить в лицо, например, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Мне не раз приходилось сидеть с ним за одним столом, особенно в Грузии и Армении, когда пили за его здоровье, поднимали бокалы и начинались знаменитые кавказские тосты. Шостакович в таких случаях торопливо вскакивал, прерывал оратора и говорил: „Ну, давайте выпьем!“ Чтобы прервать излишнее словословие и медовые восхваления…»

(Хачатурян А. Страницы жизни и творчества, из бесед с Г. М. Шнеерсоном. М., 1982).

Исаак Гликман:

«В Москве готовился пятидесятилетний юбилей Шостаковича, к которому он сам относился с большим раздражением, скукой и тоской. Его заранее пугал поток юбилейных речей, в которых будет много фальши и лицемерия. Те, кто его травили, напялят маски горячих поклонников и будут его лобызать. Обо всем этом он мне говорил, когда я приехал в Москву в канун юбилея.

Вечер состоялся 24 сентября в переполненном зале консерватории. Дмитрий Дмитриевич находился на эстраде, окруженный корзинами цветов. Вид у него был отнюдь не счастливый. Мне он казался человеком, приговоренным к словесной пытке. Он делал усилия, чтобы с интересом внимать речам, которые ему были неинтересны, не нужны. Каждый из ораторов в конце своей тирады пытался поцеловать его, но я заметил, как он ловко и вроде бы случайно локтем отталкивал от себя тех, кто ему был неприятен и антипатичен. На вечере, разумеется, выступали и любящие, и искренне почитавшие Шостаковича — человека и композитора.

На следующее утро Дмитрий Дмитриевич бросал рассеянный и какой-то отчужденный взгляд на груду сувениров, приподнесенных ему на юбилее. Подарки эти ему тоже казались неинтересными и ненужными.

За утренним чаем мы условились не говорить о юбилее, хотя ничего худого на нем не произошло»

(«Письма к другу», стр. 124).

XXXI

Галина:

С экрана льется музыка, и женский голос поет:

Танцуй танго,
Мне так легко…

А мне в этот момент совсем нелегко, поскольку в полутемном зале рядом со мною сидит отец, лицо которого выражает полнейшее отвращение и к музыке этой, и к пению, и вообще ко всему, что мы видим на экране…

Происходило это в кинотеатре «Призыв», он располагается рядом с нашим домом, тут же на Можайском шоссе. В кино в те годы попасть было нелегко, но тут нас с Максимом выручало то, что отец был депутатом Верховного Совета РСФСР. При необходимости он печатал на машинке письмо, и администратор кинотеатра продавал нам билеты без очереди.

Однажды я решила повести на сеанс десять девочек из своего класса. Отец по моей просьбе написал обращение в кинотеатр, но тут нам отказали. Администраторша объявила:

— Товарищ Шостакович как депутат Верховного Совета имеет право получить вне общей очереди два билета. Он может прийти на сеанс с женой или с кем-нибудь из детей… Пусть он приходит лично и покупает полагающиеся ему билеты.

И вот тогда-то я уговорила отца сходить со мною на фильм под названием «Петер». Это была глупейшая австрийская комедия, в главной роли снималась актриса, которую звали Франческа Гааль. Там она переодевалась в мужской костюм, пела и плясала…

Отец мужественно досидел до конца фильма, хотя, повторяю, лицо его «являло муку». И только когда мы пошли домой, он сказал:

— В кино меня больше, пожалуйста, не води…

Максим:

Я в детстве очень любил ходить в кино. И, дело прошлое, ради этой цели я пускался на подлог. Брал депутатский бланк

отца, печатал одним пальцем на его машинке письмо в тот же самый кинотеатр «Призыв», а потом изображал его подпись. Я до сих пор помню текст этих поддельных писем: «Прошу продать один билет на текущий сеанс». Таким образом я несколько раз смотрел популярный в те времена фильм «Тарзан».

XXXII

Галина:

Шостакович за своим роялем, он играет популярный в свое время фокстрот «Чай вдвоем», а вдоль стен его кабинета стоят унылые мои одноклассницы.

— Ну, давайте танцуйте, танцуйте! — призывает отец, но девочки стоят как вкопанные.

Я позвала их на день своего рождения. Сначала было угощение, за столом родители, брат Максим и мои гостьи. Но они чувствовали себя напряженно, ни одна из них рта не раскрыла. Эти девочки жили в жутких советских коммуналках, и наша отдельная квартира, где было два рояля и старая удобная мебель, по всей вероятности, казалась им сказочным дворцом.

Когда поднялись из-за стола, отец решил разрядить атмосферу. Он пригласил нас в свой кабинет, уселся за рояль, играл фокстроты и танго, но увлечь моих одноклассниц так и не смог. Как сейчас слышу его голос:

— Ну, давайте, давайте танцуйте! Шерочка с машерочкой…

Две или три нерешительно двинулись, но лед так и не растаял…

XXXIII

Галина:

Милиционер останавливает нашу машину.

— Вы в Михайловское? — говорит он. — Дальше проезда нет, вам придется идти пешком…

Отец показывает свои депутатские документы, и наш автомобиль пропускают.

Это происходило году эдак в 1952-м, в июне, в самом начале лета. Мы должны были переехать из Москвы в Комарово, и отец решил попутно посетить пушкинские места. По мере приближения к знаменитому заповеднику дорога становилась все оживленнее: грузовики с людьми, легковые машины… И все это двигалось в одном с нами направлении.

В самом Михайловском мы обнаружили целое море людей.

Отец умилялся:

— Вы посмотрите, как чтут великого поэта!.. Я и предположить не мог, что у него столько поклонников…

В здании музея нас встретил экскурсовод. Отец представился ему и говорит:

— Как удачно мы приехали… Сегодня у вас столько почитателей поэта…

— Да при чем тут поэт? — Экскурсовод руками всплеснул. — Наплевать им на Пушкина! Пьянствовать они сюда приехали. Ведь сегодня — «девятая пятница», раньше это был престольный праздник в Святогорском монастыре. В этот день тут спокон веку гульба. А для музея просто беда: они тут перепьются, весь парк мусором закидают, стекла побьют… Недели три придется приводить усадьбу в порядок. И вот так каждое лето…

Впоследствии я нашла подтверждение словам экскурсовода: «девятую пятницу» праздновали в тех местах еще в пушкинские времена.

XXXIV

Галина:

Я гляжу в иллюминатор и вижу нескончаемую белую равнину. Это — облака, над которыми летит наш самолет. И я думаю о том, что он движется очень медленно… Хочется, чтобы он мчался как можно быстрее. Рядом со мною сидит отец, мы летим в Ереван — там попала в больницу мама…

Она была физиком, занималась космическим излучением. В Армении была высокогорная станция Арагац, мама периодически туда уезжала для работы. Так было и осенью 1954 года, в декабре мы ждали ее возвращения… И тут вдруг позвонили из Еревана. Отец в этот момент был на концерте, просто как слушатель. Его отыскали среди публики и сообщили, что мама попала в больницу, что у нее была сложная операция.

И вот мы летим в Ереван… С аэродрома примчались в больницу… Стали разговаривать с врачами… Нам сказали, что мама без сознания…

Мы стали решать бытовые вопросы: как организовать круглосуточное дежурство, кто будет с нею в эту первую ночь… И тут вошел какой-то человек в белом халате и объявил, что она скончалась…

А дальше все как во сне… Хлопоты в Ереване… Едем в Москву на поезде… Гроб в нашей квартире… Родственники, друзья, соседи — все пришли попрощаться… Новодевичье кладбище… Вернулись домой — поминки…

В те дни я впервые увидела отца плачущим.

Максим:

Когда они улетали в Ереван, у отца было какое-то предчувствие… Меня он туда брать не хотел… И я помню, как я сидел и ждал телефонного звонка. У меня были тапочки, которые порвались, и я пытался самостоятельно их зашить… И вот в этот самый момент раздался звонок из Еревана. Папа сказал: «Мама умерла». И тут я понял, что мне его надо как-то поддержать… И я что-то такое ему стал говорить, пытался успокаивать…

Они с Галей приехали на поезде, а цинковый гроб прилетел на самолете. Его сопровождал армянский композитор Худоян.

На кладбище указали, где будет мамина могила, отец

говорил:

— Вот и мне здесь есть местечко, и мне есть местечко…

Декабрь был очень холодный, а у меня не было теплой одежды. И накануне похорон папа попросил мамину подругу — Анну Семеновну Вильямс — пойти со мною в магазин и купить мне зимнее пальто.

На кладбище папа не позволил произносить речей. Молчание было прервано его словами:

— Холодно очень. Очень холодно. Давайте разойдемся.

Исаак Гликман:

«В мучительные часы, предшествующие похоронам, Дмитрий Дмитриевич несколько раз принимался рассказывать мне о последних минутах Нины Васильевны, и каждый раз его исхудавшее лицо начинало судорожно дергаться и из глаз струились слезы, но он большим усилием воли брал себя в руки, и мы обрывистыми фразами переходили на другие, ничего не значащие темы.

Через кабинет проходила длинная вереница людей, пожелавших проститься с покойной. Звучала музыка квартетов и Восьмой симфонии. Л. Т. Атовмян для этой цели приладил магнитофон. Музыка исторгала у меня слезы. Я сидел на диване с Дмитрием Дмитриевичем, который временами беззвучно плакал.

После похорон, состоявшихся во второй половине дня на заснеженном Новодевичьем кладбище, домработница Феня устроила поминки, на которых кроме родных присутствовали Л. Т. Атовмян, Ю. В. Свиридов и я.

Мое расставание с Дмитрием Дмитриевичем было исполнено печали и скорби.

Ночью 10 декабря я вместе со Свиридовым уехал в одном купе в Ленинград.

Почти до самого утра мы с горячей любовью говорили о Шостаковиче, о его гениальном даровании, о его феноменальной творческой воле, которую ничто не способно сломить. Злые силы ее могут согнуть, но она снова выпрямится, подобно стальной пружине. Такую мысль развивал Ю. В. Свиридов»

(«Письма к другу», стр. 108).

Максим:

Со смертью мамы наш отец потерял не только подругу, мать своих детей. Она была его ангелом-хранителем, избавляла от бытовых хлопот и неудобств, как могла, ограждала от посягательств и хамства партийных чиновников, от унижений подневольной советской жизни.

XXXV

Галина:

Я говорю по телефону с молодым человеком. Разговор длится долго, и мы назначаем свидание под каким-то фонарем с часами… Во все время этой беседы я вижу, как отец нервно расхаживает по квартире — мой разговор ему явно не по душе.

Я вешаю трубку, и он говорит мне:

— Что это за манера — назначать свидания в какой-то подворотне? Воспитанные люди так не делают. Твой кавалер должен прийти к нам домой, познакомиться с твоим отцом. Надо угостить его чаем…

Наша мать умерла, когда мне было восемнадцать лет, а Максиму шестнадцать. И перед отцом встала проблема нашего воспитания. Я до сих пор помню, как он учил меня правилам поведения, объяснял, например, что вниз по лестнице женщина должна идти впереди мужчины, а наверх — позади…

Отец всегда очень волновался, если меня или Максима вечером не было дома. Мы были обязаны звонить домой, сообщать ему, где именно мы находимся и когда вернемся.

В целях воспитательных у нас иногда вспоминалась такая история. Еще до войны родители пошли в гости к поэту Иосифу Уткину. Было обильное угощение, которое приготовила и подавала мать поэта. В какой-то момент она вышла из комнаты, и тут моя мама опрокинула бокал с красным вином.

Когда же хозяйка вернулась, Уткин решил взять вину на себя, дескать, именно он допустил такую оплошность. И тут мамаша на него набросилась:

— Будь ты неладен!.. Что ж ты натворил?! Это же моя лучшая скатерть! Я же ее теперь не отстираю! Что у тебя за руки? Почему из них всегда все валится?

Пересказывая этот трагикомический эпизод, отец говорил мне и брату:

— Хорошее воспитание состоит не в том, чтобы не опрокинуть бокал вина на скатерть, а в том, что, если такое случилось, сделать вид, будто ничего не произошло.

XXXVI

Максим:

Я и по сю пору явственно слышу фарисейский голос композитора Дмитрия Кабалевского, он обращается к моему отцу и, имитируя доброжелательность, говорит:

— Митя, ну что ты торопишься? Не наступило еще время для твоей оперы…

А Шостакович сидит на диване, в трясущейся руке — папироса, он будто и не слышит Кабалевского…

Это происходило в марте 1956 года. К нам домой явилась комиссия Министерства культуры, она должна была решить дальнейшую судьбу оперы «Леди Макбет Мценского уезда», которая была запрещена к постановке в течение двадцати лет — с 1936 года. Именно тогда на один из спектаклей пришел сам Сталин, и опера вызвала его гнев. В центральной партийной газете «Правда» была напечатана разгромная статья под названием «Сумбур вместо музыки», а затем последовали так называемые «оргвыводы» — собрания творческой интеллигенции, где единогласно принимались резолюции, гневно осуждающие и Шостаковича, и его опус.

Но в 1953 году Сталин умер, в стране началась хрущевская «оттепель», и у нашего отца появилась надежда, что опера «Леди Макбет» — одно из самых его любимых творений — может быть реабилитирована. Это казалось вполне достижимым, к тому же Шостакович внес в оперу исправления, которые коснулись и музыки, и либретто. Кроме того, опера получила другое название — «Катерина Измайлова». Снятия запрета добивался не только наш отец, но и руководство Малого оперного театра в Ленинграде, им очень хотелось включить этот спектакль в свой репертуар.

В начале 1956 года в Министерстве культуры была сформирована комиссия, дабы решить дальнейшую судьбу многострадальной оперы. Председателем этой комиссии был Кабалевский, кроме него я помню композитора Михаила Чулаки и музыковеда по фамилии Хубов. А еще присутствовал Исаак Давыдович Гликман, он помогал отцу делать новую редакцию либретто. То обстоятельство, что прослушивание оперы и самое заседание этой комиссии происходило у нас дома, на Можайском шоссе, может восприниматься двояко. С одной стороны — как дань уважения Шостаковичу, а с другой — как утонченное

издевательство, если учесть то, что говорилось на обсуждении.

Члены комиссии и приглашенные ими лица расположились в кабинете отца, а он сел у рояля и пропел всю оперу под собственный аккомпанемент. В это время я был рядом с ним, он попросил меня переворачивать нотные страницы.

Потом началось обсуждение… Кабалевский, Хубов и Чулаки буквально набросились на Шостаковича… Им пытался возражать Гликман, но они его не желали слушать…

А я смотрел на этих отвратительных людей и жалел, что у меня нет рогатки, из которой я когда-то в Комарове стрелял в обидчиков моего отца.

Исаак Гликман:

«Обсуждение „Леди Макбет“ можно назвать постыдным. Хубов, Кабалевский и Чулаки все время ссылались на статью „Сумбур вместо музыки“. Особенно усердствовали Хубов и Кабалевский. Они сравнивали отдельные куски музыки с разными абзацами этой статьи, наполненной бранью. Они при этом повторяли, что статью до сих пор никто не отменял и она сохранила свою силу и значение. (Еще бы! Ведь в ней говорится, что в опере „музыка ухает, крякает, пыхтит и задыхается“.)

Кабалевский делал комплименты некоторым местам оперы, и это было вдвойне неприятно слушать. В заключение он сказал (в качестве председателя комиссии), что оперу ставить нельзя, так как она является апологией убийцы и развратницы и его нравственность этим очень ущемлена… Я говорил довольно убедительно, но все мои доводы разбивались об эту статью, которой Кабалевский и Хубов размахивали, как дубинкой.

В конце прений Кабалевский просил высказаться Дмитрия Дмитриевича, называя его с дружеской фамильярностью Митей, но тот отказался говорить и с удивительным самообладанием поблагодарил „за критику“. На душе у него кошки скребли. Мы с ним поехали в ресторан и изрядно напились не от горя, а от отвращения. Это было в ресторане „Арагви“, в отдельном кабинете. Дмитрий Дмитриевич встал из-за стола, подошел ко мне и сказал: „Ты мой первый и самый верный и самый любимый друг. Спасибо“. Он имел в

виду и мое поведение на сегодняшнем заседании»

(«Письма к другу», стр. 120.)

Максим:

Шостакович написал не только музыку, но и либретто «Леди Макбет Мценского уезда», и потому эта опера была вдвойне любимым детищем. Он вообще ко всем своим произведениям относился, как к детям. И те из них, которые наиболее пострадали от запретов, от несправедливой критики, были для него дороже прочих. А у оперы «Леди Макбет» была не то чтобы драматическая, а воистину трагическая судьба. Шостакович-либреттист явственно представлял себе, как именно это должно не только звучать, но и выглядеть на сцене.

А театральные режиссеры зачастую позволяли, да и позволяют себе совершенно абсурдные вещи. Я сам, например, видел в одной из недавних постановок такую «режиссерскую находку». Персонаж, именуемый «Задрипанный мужичонка», как известно, поет: «У Измайловых труп в погребе!» Так вот в том спектакле, о котором я говорю, «труп» помещен не в погреб, а в багажник автомобиля «Лада», каковой для этой постановки специально выписали из Москвы. Вот такая бредовая идея. Я этому режиссеру выразил свое недоумение, дескать, следует придерживаться авторского замысла… А он мне: «Ну, Максим Дмитриевич, теперь уже так никто не работает». В этой же постановке и такая несообразность: Катерина поет: «Батраки крупчатку (муку) ссыпают». А у него там персонажи в пластмассовых касках, и у них мешки с цементом… В другой постановке я видел: вместо старых российских полицейских на сцене появляются сотрудники советского КГБ.

Шостакович совершенно не терпел подобных вещей, а потому старался участвовать в подготовке всех постановок «Леди Макбет». Самым лучшим он считал спектакль в Киевском театре оперы и балета — дирижер К. А. Симеонов, режиссер И. А. Молостова, премьера состоялась в марте 1965 года.

Шостакович — И. А. Молостовой:

«Я уже видел несколько постановок моей оперы. В лондонской постановке и особенно в загребской был очень сильный крен в сторону эротики, что совершенно

недопустимо. Кое-что в Лондоне и в Загребе мне удалось исправить. В Лондоне больше, чем в Загребе…

Мне очень хочется, чтобы в 5-й картине Катерина Львовна ухаживала за избитым накануне Сергеем, как это может делать любящая женщина. Эротика тут недопустима. Главные эмоции Катерины Львовны — это любовь и жалость к Сергею, страх за себя и Сергея, угрызения совести после убийства Бориса Тимофеевича. Сергей должен быть подлецом. Но в то же время он должен быть таким, чтобы было понятно, почему Катерина его полюбила. Он должен быть внешне не ничтожным. В Театре имени Станиславского он уж очень ничтожен, и непонятно, как такое ничтожество смогла полюбить Катерина»

(Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество. Том 2. Л., 1986, стр. 444).

XXXVII

Галина:

Наша машина едет по Приморскому шоссе, я — за рулем, отец — рядом со мною. Волнуюсь я ужасно, сейчас мы должны въезжать в Ленинград, миллионный город, где снуют тысячи машин… А водительского опыта у меня кот наплакал…

Было это летом 1956 года. Я только что получила права, окончила в Москве специальную школу. В начале лета нашу «Победу» перегнали в Комарово, и она там преспокойно стояла. А тут вдруг отец мне объявляет: «Завтра повезешь меня в Ленинград».

Но волновалась я напрасно, все прошло очень хорошо. Главным образом потому, что он мною руководил: предупреждал о поворотах, указывал, в каком ряду двигаться… Теорию управления автомобилем отец знал назубок. А вот с практикой у него были проблемы, и за руль он старался не садиться, хотя водительские права имел с довоенных времен.

При покупке нашей первой «Победы» вышла такая история. Тогда получение машины было делом очень долгим и канительным, и там, разумеется, требовалось непременное присутствие будущего хозяина. Так что отец сам поехал в магазин, все оформил и пригнал машину. Ехала она плоховато, и он решил, что ему достался бракованный экземпляр.

Поставив автомобиль возле нашего дома, отец запер дверцу и хотел было идти. В этот момент его окликнул какой-то шофер: «Эй, в очках! Смотри, что у тебя с машиной!» Он поглядел и увидел, что от колес идет дым. Оказалось, что все расстояние от магазина до дома он проехал с включенным ручным тормозом.

Максим:

Я помню еще одну историю в этом роде, ее мама рассказывала. Как-то она сказала отцу: «У тебя же есть права, давай поедем на машине куда-нибудь за город…» Они отправились на Собачью площадку, там у нас был гараж. Отец сел за руль, завел машину и стал выезжать на улицу. Но при этом он забыл закрыть дверцу, задел ею за ворота, и она почти оторвалась. В результате поездка отменилась, родители заперли гараж и вернулись домой.

При этом отец иногда пародировал шоферский жаргон, он говорил: «Поршня, скоростя — я в этом ничего не понимаю». А еще он рассказывал про случай с замечательной арфисткой Верой Дуловой. После концерта к ней подошла какая-то тетка, указала на педаль арфы и спросила: «А это у вас — скоростя?»

Галина:

Мне представляется, что вождение автомобиля было Шостаковичу психологически противопоказано. Он был слишком эмоциональным, ранимым, и это в сочетании с повышенным чувством ответственности…

Исаак Гликман:

«По установленному Дмитрием Дмитриевичем обычаю, он встречал меня на вокзале. На этот раз из-за болезни шофера он сам решился править машиной и на пути домой совершил маленькую оплошность: дал гудок в недозволенном месте. В мгновение ока явился грозный страж порядка, приведший Шостаковича в крайнее волнение. Ему, конечно, не пришло в голову показать милицейскому чину свой мандат депутата Верховного Совета (это противоречило его жизненным правилам!): он послушно протянул водительские права. Милицейский чин сурово отчитывал „нарушителя“, пока не прочел его фамилию, справившись при этом, не является ли он композитором. Дмитрий Дмитриевич хмуро удовлетворил любопытство милицейского чина и был отпущен на все четыре стороны. Как ни странно, но этот незначительный инцидент вывел из равновесия очень нервного Шостаковича»

(«Письма к другу», стр. 88).

XXXVIII

Галина:

Шостакович подходит к своему автомобилю, берется за ручку двери… И тут нечто невообразимое — удар электрическим током! Отец в ужасе отскакивает от машины, с него спадают очки…

Это сработала самодельная противоугонная система, которую установил наш тогдашний шофер — Александр Львович Лимонадов. Разумеется, после того, как первой жертвой его хитроумного изобретения стал сам хозяин, оно было забраковано.

Лимонадов работал у отца несколько лет, а потом его сменил другой водитель, его звали Виктор Гогонов, с ним тоже связана забавная история.

В Лаврушинском переулке, прямо напротив Третьяковской галереи, стоит высокий дом, в котором имели квартиры многие московские писатели. А в первом этаже этого здания долгие годы располагалось Управление по охране авторских прав, где выдавали деньги литераторам и композиторам, чьи произведения исполнялись публично. Там же была и сберегательная касса, куда эти гонорары переводились.

В своих поездках по стране Шостакович тратил много денег, и по возвращении в Москву ему необходимо было сразу же побывать в Лаврушинском переулке — снять со счета очередную сумму. Отец приезжал в управление по авторским правам на машине, но, разумеется, не докладывал водителю о цели приезда в эту часть Москвы. Так вот наш шофер воспринимал эти регулярные поездки по-своему, он говорил:

— До чего же все-таки Дмитрий Дмитриевич интеллигентный, культурный. Вот уедет из города на недельку-другую, вернется в Москву — и прямо с вокзала катит в Третьяковскую галерею!..

Максим:

С этим Виктором Гогоновым был такой случай. Он как-то зашел к нам домой и увидел, что я сижу за роялем. И он мне говорит: «Дай-ка я попробую сыграть „Подмосковные вечера“…» Стал нажимать на клавиши правой рукой, но как-то неуверенно, коряво… И вдруг говорит: «Подожди, я знаю, в чем дело…» Тут он подлез под рояль, высунул оттуда руку и сыграл эту мелодию

гораздо увереннее. Оказывается, он был аккордеонист и привык к тому, что клавиши размещаются вдоль его живота.

А теперь касательно Управления по охране авторских прав. Однажды мне довелось сопровождать туда отца. Подойдя к кассе, мы увидели стоящего Жана Поля Сартра, который внимательно пересчитывал довольно толстую пачку купюр. Надобно заметить, что в те времена в Советском Союзе иностранцам гонораров не выплачивали. Делалось это в исключительных случаях, для поощрения тех деятелей, что приносили особенную пользу большевицкому режиму. Как видно, Сартр входил в их число.

Отец метнул на француза быстрый взгляд и шепнул мне в самое ухо:

— Мы не отрицаем материальной заинтересованности при переходе из лагеря реакции в лагерь прогресса.

(Шостакович пародировал весьма известный в те годы афоризм Ленина: мы, то есть коммунисты, не отрицаем материальной заинтересованности рабочих при повышении производительности труда.)

XXXIX

Галина:

Шостакович быстрыми шагами переходит от одного рояля к другому, потом к третьему, к четвертому, он пробует, как звучит каждый… Это происходит в Хельсинки, в огромном магазине Штокмана, на самом верхнем этаже, где продают музыкальные инструменты.

Один из роялей понравился отцу больше других, и все, в том числе он сам, были убеждены, что покупка совершится. Но судьба распорядилась по-иному.

В 1958 году Шостаковичу была присуждена премия имени Яна Сибелиуса, и для получения этой награды отец поехал в столицу Финляндии. Мне довелось сопровождать его в этой поездке, было это в начале октября.

Кроме рояля мы собирались купить кое-какую мебель, что-то из одежды, поскольку в Москве в те времена ничего пристойного приобрести было невозможно. Премия Сибелиуса составляла кругленькую сумму в долларах, и наши планы казались вполне осуществимыми.

А тут накануне самого вручения премии некое облеченное властью лицо объявило отцу: дескать, есть мнение (такая тогда была формулировка, она выражала категорический приказ) — есть мнение, что деньги от премии надлежит пожертвовать Обществу финско-советской дружбы. Так что все наши приобретательские планы рухнули в одночасье… Да и не только приобретательские: мы планировали остаться в Финляндии на несколько дней, проехаться по стране… Но поскольку деньги у отца отобрали, он решительно объявил:

— Мы завтра же уезжаем домой.

И пробыли мы в Хельсинки всего-то три дня.

Еще дома, в Москве, как только отец объявил, что возьмет меня с собою в Финляндию, мой жених, мой брат и наши общие приятели стали просить меня привезти им подарки. Все просьбы были одинаковые — каждый просил жевательную резинку и финский нож.

Как только мы приехали в Хельсинки, отец выдал мне деньги на покупку сувениров, а каких именно, разумеется, он не знал. Начала я с жевательной резинки — ее можно было купить в вестибюле нашей гостиницы. Это приобретение имело несколько неожиданное последствие. Некий тип, кажется, из посольских,

сказал отцу:

— Дмитрий Дмитриевич, знаете ли вы, что ваша дочь воспользовалась автоматом по продаже жевательной резинки? Прошу вас предупредить вашу дочь, чтобы она нигде и ни в каком случае резинку не жевала, это здесь считается совершенно неприличным.

Финские ножи я купила в какой-то сувенирной лавке, уже перед самым отъездом в Москву. Но когда я стала укладывать свои вещи, в номер зашел отец и увидел на дне моего чемодана пять этих самых ножей. Человек осторожный и законопослушный, он пришел в ужас:

— Ты что купила?! Ты вспомни, что пишут в таможенной декларации: оружия нет. А тут — холодное оружие. Нас задержат на границе!

И все же мне удалось его успокоить, объяснить, что это — здешние финские сувениры… Кроме того я обещала выбросить ножи, если они привлекут внимание на таможне. Но все обошлось, наш багаж пропустили без всякой проверки…

В отличие от обычных советских людей, Шостакович вообще не любил ездить за границу. Прежде всего потому, что не мог, не имел права обнаруживать свои истинные мысли и чувства. Кроме того, он знал, что настырные и бесцеремонные журналисты наверняка станут задавать провокационные вопросы. И наконец, ему всемирной знаменитости — было унизительно находиться за рубежом без достаточного количества денег, а ему их выдавали, как и всем соотечественникам, ничтожно мало.

Я вспоминаю еще одну характерную историю, она произошла в 1950 году. Шостакович был приглашен в Германию, где состоялось празднование по случаю двухсотлетия со дня смерти Баха. И вот там к нему явилась группа маститых музыкантов, которые предложили моему отцу купить огромный альбом, изданный с благотворительной целью. Цена была несообразно высокая, поскольку деньги от продажи парадного издания шли на помощь престарелым и больным оркестрантам. Отказаться от покупки Шостаковичу было неудобно, альбом он взял и объяснил, что деньги отдаст позднее. Затем отец отправился в советское посольство, занял у кого-то требуемую сумму и таким образом вышел из неловкого положения…

И как я помню, по возвращении в Москву он имел разговор с высоким начальством, чуть ли не с самим Молотовым. Отец заявил, что категорически отказывается от дальнейших поездок за границу, поскольку не может быть застрахован от повторения подобных позорящих его, да и саму нашу страну ситуаций.

XL

Галина:

— Ты идешь гулять с собакой? Опусти, пожалуйста, письма, — говорит мне отец.

Он писал очень много писем. Всякий день на его столе накапливалась целая стопка заклеенных конвертов и открыток. Надписывал он их не по-советски небрежно — сначала фамилию, а потом инициалы адресата, а так, как это полагалось в старой России, уважительно — полностью имя, отчество, а уже затем фамилия.

Почти все письма Шостаковича — краткие, деловые. Но иногда самым близким своим друзьям он писал несколько подробнее и, я бы сказала, эмоциональнее. Но и в этих случаях больше иронии, нежели лирики, отец был невероятно сдержанным, наглухо закрытым для посторонних людей человеком.

Чтобы представить себе его эпистолярное наследие, надобно обратиться к книге «Письма к другу», в ней опубликовано то, что сохранил в своем архиве Исаак Давыдович Гликман, а он был близок с Шостаковичем более четырех десятилетий. Там наряду с множеством кратких записок есть письма существенные, которые отчасти приоткрывают чувства и мысли автора. Я не случайно употребила слово «приоткрывают», люди поколения нашего отца знали: их переписка проходит перлюстрацию.

Последнее обстоятельство заставляло Шостаковича прибегать к иносказаниям, намекам, и надо отдать ему должное, делал он это виртуозно. Стиль некоторых его писем сродни рассказам Михаила Зощенки, чьим поклонником был наш отец. И вот еще что: переписка с Гликманом дает исчерпывающий ответ на вопрос, каково было подлинное отношение Шостаковича к советской власти во всех ее чудовищных и крайне безвкусных проявлениях.

Шостакович — Гликману:

«В Союзе советских композиторов должно было состояться ее (Восьмой симфонии. — М. А.) обсуждение, каковое было отложено из-за моей болезни. Теперь это

обсуждение состоится, и я не сомневаюсь, что на нем будут произнесены ценные критические замечания, которые вдохновят меня на дальнейшее творчество, в котором я пересмотрю свое предыдущее творчество и вместо шага назад сделаю шаг вперед»

(«Письма к другу», стр. 61).

«Дело в том, что мой желудок перестал высоко держать свою обязанность хорошо переваривать пищу»

(«Письма к другу», стр. 102).

«Целыми днями сижу на съезде композиторов. Вечерами бываю на праздничных премьерах новых выдающихся музыкальных произведений. Но не всегда эти праздники оборачиваются для меня праздниками»

(«Письма к другу», стр. 247).

«Из эстетических впечатлений отмечу пластинку с цыганским пением. Это великолепно, хотя и очень грустно. <…> Поет певица Волшанинова и цыганский хор. Поет изумительно. Слушая ее, льются слезы и появляется желание выпить и закусить»

(«Письма к другу», стр. 212).

«29. XII.1957. Одесса.

Дорогой Исаак Давыдович! Приехал я в Одессу в день всенародного праздника 40-летия Советской Украины. Сегодня утром я вышел на улицу. Ты, конечно, сам понимаешь, что усидеть дома в такой день нельзя. Несмотря на пасмурную туманную погоду, вся Одесса вышла на улицу. Всюду портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также т.т. А. И. Беляева, Л. И. Брежнева, Н. А. Булганина, К. Е. Ворошилова, Н. Г. Игнатова, А. П. Кириленко, Ф. Р. Козлова, О. В. Куусинена, А. И. Микояна, Н. А. Мухитдинова, М. А. Суслова, Е. А. Фурцевой, Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника, А. А. Аристова, П. А. Поспелова, Я. Э. Калнберзина, А. И. Кириченко, А. Н. Косыгина, К. Т. Мазурова, В. П. Мжаванадзе, М. Г. Первухина, Н. Т. Кальченко.

Всюду флаги, призывы, транспаранты. Кругом радостные, сияющие русские, украинские, еврейские лица. То тут, то там слышатся приветственные возгласы

в честь великого знамени Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также в честь т.т. А. И. Беляева, Л. И. Брежнева, Н. А. Булганина, К. Е. Ворошилова, Н. Г. Игнатова, А. И. Кириченко, Ф. Р. Козлова, О. В. Куусинена, А. И. Микояна, Н. А. Мухитдинова, М. А. Суслова, Е. А. Фурцевой, Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника, А. А. Аристова, П. А. Поспелова, Я. Э. Калнберзина, А. П. Кириленко, А. Н. Косыгина, К. Т. Мазурова, В. П. Мжаванадзе, М. Г. Первухина, Н. Т. Кальченко. Всюду слышна русская, украинская речь. Порой слышится зарубежная речь представителей прогрессивного человечества, приехавших в Одессу поздравить одесситов с великим праздником. Погулял я и, не в силах сдержать свою радость, вернулся в гостиницу и решил описать, как мог, всенародный праздник в Одессе.

Не суди строго.

Крепко целую.

Д. Шостакович»

(«Письма к другу», стр. 135).

XLI

Галина:

Наш отец не был врагом бутылки, все его друзья и знакомые знали, что он любит выпить водочки. Когда началась хрущевская «оттепель», музыканты стали выезжать на гастроли за границу. Кое-кто привозил оттуда спиртные напитки в подарок Шостаковичу.

Вспоминается такая сценка. Отец сидит за столом, перед ним иностранная бутылка с завинчивающейся пробкой. Нам это было в новинку, отечественная водка в те времена закупоривалась «бескозыркой», кусочком мягкого металла, который сразу же выбрасывался.

И вот я помню, как отец говорит:

— Иностранные бутылки снабжаются пробками с резьбой, потому что у них бутылка — предмет долговременного пользования. А наша поллитровка — предмет одноразовый, если ты открыл ее — затыкать еще раз не потребуется…

И еще он иногда повторял довольно известную в России поговорку:

— Водка бывает только хорошая или очень хорошая. Плохой водки не бывает.

Шостакович — Гликману:

«25. III.1974. Жуковка.

Дорогой Исаак Давыдович!

Посылаю при сем этикетку с бутылки из-под водки „Экстра“. Стрелка, которую я нарисовал на этикетке, указывает на знак качества. Знатоки говорят, что если на этикетке имеется вышеуказанный знак, то это говорит о высоком качестве водки „Экстра“. Поэтому я тебе советую: когда будешь покупать „Экстру“, обращай внимание на наличие или отсутствие знака качества.

Будь здоров и счастлив.

Сердечный привет от нас Вере Васильевне.

Твой Д. Шостакович»

(«Письма к другу», стр. 300).

XLII

Галина:

Я стою в нашей столовой, передо мною распахнутая дверца больших часов. Радиоприемник вот-вот издаст специфический писк — «сигналы точного времени», и в этот самый момент я должна качнуть маятник… А отец готовится произвести точно такое же действие в своем кабинете…

Он очень любил всякие часы, они у нас были в каждой комнате. А били только те, что стояли на полу в столовой, и те, которые находились у него в кабинете на столе. И вот отец добивался, чтобы бой звучал одновременно, по этой самой причине мы с ним ловили «сигналы точного времени».

XLIII

Галина:

В телефонной трубке что-то трещит, и голос отца слышен очень плохо. Он звонит с дачи, из Болшева, а там всегда была очень плохая связь. Я держу лист бумаги и диктую:

— Пожар — три минуты пятнадцать секунд… Ночная улица — четыре минуты ровно. Дождь за окном — две минуты тридцать секунд…

Отец не любил писать музыку к кинокартинам, но — увы! — принужден был заниматься этим всю свою жизнь — таков был наиболее приемлемый и пристойный вид заработка. Фильм приносил денег во много раз больше, нежели любое серьезное симфоническое произведение. Да к тому же бывали времена, когда исполнять произведения Шостаковича запрещалось.

В один из таких периодов, в 1948 году, отец признался И. Гликману: «…я за последний год написал много музыки к кинофильмам. Это дает мне возможность жить, но и утомляет до чрезвычайности».

Принимая очередной заказ на музыку к кинокартине, отец получал нечто вроде рабочего плана, там перечислялись эпизоды фильма и их продолжительность. Так вот, в тот раз он уехал в Болшево, а листок с этим планом оставил в Москве. Пришлось ему звонить домой, я нашла эту бумажку и диктовала.

— Так, записал? Троллейбус на московской улице — шесть минут… Белое безмолвие — три минуты…

Это «белое безмолвие» в особенности забавляло отца. Он говорил:

— Как прикажете передать в музыке такую штуку, как «белое безмолвие»?

XLIV

Галина:

Отец входит в комнату Максима:

— У тебя должны быть сигареты.

— Какие сигареты? — растерянно говорит тот.

— Я знаю, у тебя есть сигареты. Ты куришь.

— С чего ты взял?..

— Дай мне закурить, — просит отец.

Сам он курил всю жизнь, любил папиросы «Казбек», но иногда забывал покупать их в достаточном количестве. Хотя в некоторых случаях он был вполне предусмотрительным. Например, когда он ехал в Америку в 1949 году, то половина чемодана была занята пачками «Казбека».

Когда Максим вырос, он тоже пристрастился к табаку. Было это то ли в последнем классе школы, то ли уже в консерватории. При отце он, разумеется, курить стеснялся, а тот со своей стороны делал вид, что об этом не догадывается.

В тот день у отца кончились папиросы, и он отправился в комнату к сыну. Максиму пришлось сознаться и угостить отца сигаретами.

Хотя курил наш отец довольно много, но при своей аккуратности не терпел переполненных пепельниц, если видел там хотя бы два окурка, немедленно выбрасывал их.

XLV

Галина:

Отец нервно расхаживает по комнате.

— Тебя зашлют неизвестно куда, — говорит он мне, — в Тмутаракань, на Дальний Восток… Вот если бы ты была певица, я бы тебя тут же куда-нибудь устроил… Зачем тебя вообще понесло на этот биологический факультет?

Это происходило весною 1959 года. Я заканчивала университет, и мне, как и всем моим однокашникам, предстояло так называемое распределение. И тем, у кого не было возможности устроиться на работу в Москве и притом принести на факультет соответствующую бумажку, надлежало отправиться в глухую провинцию и стать учителем биологии в какой-нибудь отдаленной средней школе.

Отец не был готов в такому повороту событий, да и я, честно сказать, уезжать из дома не стремилась. И тут мы принялись вспоминать, кто из знакомых занимается чем-нибудь близким к биологии. Долго думать не пришлось, поскольку муж родной сестры моего отца — Зои Дмитриевны — Григорий Константинович Хрущов был заведующим кафедрой гистологии во Втором медицинском институте. А у них в это самое время открывалась Центральная научно-исследовательская лаборатория, куда я и поступила на работу.

XLVI

Галина:

Шостакович решительными шагами входит в дом и сразу же направляется в ванную комнату. Пробует кран — вода льется в раковину. Он заглядывает в уборную, дергает за цепочку — вода шумит в унитазе. После этого отец объявляет:

— Я эту дачу покупаю.

Он не стал подниматься на второй этаж, не посмотрел, какова крыша, что с подвалом… Его интересовало лишь одно — водоснабжение.

Так был приобретен дом в Жуковке, где отцу предстояло прожить многие годы.

Во времена более ранние существовала дача в Болшеве, ее Шостаковичу подарили по личному распоряжению Сталина. Это был неказистый деревянный дом, но отец это место полюбил — он там мог уединяться для работы. В Болшеве его угнетало лишь одно — вечные проблемы с водой. Питьевую вообще привозили откуда-то издалека, возле дома рыли колодцы, но все как-то неудачно. А отец был чистюлей, то и дело мыл руки, и вообще у него с водой были особенные отношения.

И вот в шестидесятом году ему предложили купить дачу в Жуковке, в поселке, где жили советские академики. Тут надобно отдать должное щепетильности моего отца. Вместо того, чтобы продать подаренную ему Сталиным дачу в Болшеве, он вернул ее государству. При том, что за новый дом надо было выложить — и немедленно — весьма значительную сумму.

В советские времена те из композиторов, чьи произведения исполнялись за рубежом, имели счета в иностранной валюте, туда переводились некоторые проценты из отбираемых у авторов заграничных гонораров. И если такой композитор выезжал из страны, ему позволялось снять со своего счета немного валюты. Но это делалось неохотно и лишь с разрешения высокого начальства.

Разумеется, такой счет был и у Шостаковича. Так вот, чтобы вовремя заплатить за купленную дачу, отец был принужден перевести в рубли всю свою валюту. Государство притом наживалось, поскольку обмен осуществлялся по грабительскому официальному курсу. Эта финансовая операция имела неожиданное последствие. Отцу позвонил Арам Хачатурян и сказал:

— Что же ты делаешь? В какое положение ты нас всех поставил? Нам говорят: Шостакович — патриот, он свою валюту перевел в рубли. И вот теперь все композиторы должны последовать твоему примеру. Если тебе понадобились советские деньги, попросил бы у меня. Да тебе бы любой из нас одолжил…

Современный читатель может усомниться в реальности этой истории. Но наш отец всю сознательную жизнь прожил при советской власти и принужден был терпеть унижения едва ли не на каждом шагу. Уже незадолго до смерти, в семидесятых годах, перед очередной поездкой за границу он сделал попытку снять со своего валютного счета значительную сумму денег — ему захотелось купить иностранный автомобиль, кажется, «мерседес». Но начальство этого не позволило, Шостаковичу объяснили: «У нас, в Советском Союзе, изготовляют вполне качественные машины — „Волги“».

XLVII

Галина:

— Давайте сюда таз… Не такой, побольше. — Это командует Галина Павловна Вишневская. — Горячей воды надо целое ведро…

Так происходило первое купание моего старшего сына Андрея, это было летом 1960 года. Из родильного дома нас привезли прямо на дачу в Жуковку. А у нас в семье ни у кого не было навыка обращения с новорожденными. Мама уже давно умерла, домработница Феня была старой девой. Я кормила ребенка, пеленала. А отец то и дело интересовался, когда внука будут купать… Честно говоря, я этого немного побаивалась, и тогда отец отправился к Ростроповичам и привел Галину Павловну — даму решительную и к тому же мать двоих дочерей.

XLVIII

Галина:

Я поднимаю телефонную трубку и слышу мужской голос:

— Здравствуйте. С вами говорят из газеты «Советская культура». Могу я попросить к телефону Дмитрия Дмитриевича? — Его сейчас нет в Москве, — отвечаю я.

— А когда он вернется?

— К сожалению, мы этого еще не знаем.

Подобные разговоры происходили более или менее регулярно. На стене над телефонным аппаратом висел написанный рукою отца список, начинался он с такого пункта:

«Все газеты и журналы»…

Далее там значились еще некоторые учреждения, а затем уже и конкретные личности. Смысл этого перечисления был известен лишь домочадцам: нам категорически запрещалось звать отца к телефону, если звонили помянутые в списке люди или представители помещенных там организаций.

А к журналистам Шостакович испытывал особую неприязнь. Он не без основания считал их людьми невоспитанными, необразованными, способными задавать бестактные и провокационные вопросы.

Максим:

Некоторые журналисты до сих пор хранят обиду на Шостаковича, они полагают, что это отец не любил их без видимых причин. Эти люди не дают себе труда понять, в каком положении Шостакович прожил свою жизнь. Он и вся его семья, по существу говоря, были заложниками у преступного и беспощадного режима. И каждое свое слово наш отец был вынужден произносить с оглядкой на всевластных мучителей.

XLIX

Галина:

Я вспоминаю сетования отца:

— Если бы у меня было право распорядиться хотя бы двумя квартирами в год… А так чем я могу помочь нуждающимся людям?

В течение многих лет Шостакович был депутатом Верховного Совета Российской Федерации и неукоснительно выполнял все связанные с этим обязанности: присутствовал на заседаниях, специально ездил в Ленинград, чтобы «вести прием избирателей»… Но никакой реальной власти у тогдашних депутатов не было и быть не могло. А посему отец, человек в высочайшей степени ответственный и сострадающий чужому горю, тяготился своей депутатской должностью.

Максим:

Дела, по которым люди обращались к «депутату Шостаковичу», были двух родов: или жилищные, или связанные с репрессиями. В последних случаях отец в особенности стремился помочь. В конце 1963 года в Ленинграде началось преследование поэта Иосифа Бродского. Анна Ахматова пригласила Шостаковича к себе, и 17 декабря он побывал в доме на Большой Ордынке, где поэтесса проводила свои московские месяцы. Существуют свидетельства о том, что он взялся помочь и говорил о «деле Бродского» с главным ленинградским начальником — В. С. Толстиковым. Но — увы! — пользы это не принесло — поэта арестовали и судили.

Я помню, собираясь на Ордынку, отец несколько раз произнес такую фразу:

— О чем же я буду говорить с Ахматовой?

А домочадцы поэтессы рассказывали мне, что перед его визитом она также выражала недоумение:

— Все это хорошо, но я не знаю, о чем надо говорить с Шостаковичем?

Впрочем, своей беседой они оба остались очень довольны.

Кстати сказать, Анна Ахматова была горячей поклонницей нашего отца, и тому есть письменное свидетельство. 22 декабря 1958 года она сделала такую надпись на книге своих стихов:

«Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, в чью эпоху я живу на земле».

Анна Ахматова

Музыка

Д. Д. Ш<остаковичу>.

В ней что-то чудотворное горит,
И на глазах ее края гранятся.
Она одна со мною говорит,
Когда другие подойти боятся.

Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной в моей могиле
И пела словно первая гроза
Иль будто все цветы заговорили.

L

Максим:

— Дмитрий Дмитриевич, ведь вам достаточно только снять трубочку, произносит гостья заискивающим голосом.

Шостакович смотрит на нее страдальчески.

Отец терпеть не мог этой фразы про «трубочку», а слышать это ему приходилось регулярно. Очень многие просители ошибочно полагали, что при своей популярности Шостакович — человек всесильный. Дескать, достаточно ему попросить о чем-нибудь высокое начальство — и любое дело разрешится.

Дама, о которой я сейчас вспомнил, была вдовою композитора В. и была крайне озабочена «увековечением» памяти мужа. По ее мнению, одного телефонного звонка Шостаковича было достаточно, чтобы музыка В. стала исполняться в концертах и звучать по радио. Отец наш и «трубочку» много раз «снимал», и письма подписывал, но вдове всего этого было мало.

В каком-то очередном разговоре мадам В. посетовала:

— Муж умер, и никого у меня не осталось…

Тут Шостакович возьми и скажи:

— Да, да… А вот у Иоганна Себастьяна Баха было два десятка детей. И все они продвигали его музыку.

— Вот-вот, — подхватила вдова. — Его до сих пор исполняют! А я-то одна, совсем одна!..

Я помню, как однажды после очередного разговора с этой дамой отец обратился к нам, домашним:

— Пожалуйста, когда я умру, не занимайтесь моим «бессмертием»… Не хлопочите, чтобы играли мою музыку…

Галина:

Но он всю свою жизнь пропагандировал музыку своих учеников и коллег, кого считал талантливыми. В журналах и в архивах можно прочесть десятки его писем с хвалебными отзывами о сочинениях С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Ю. Свиридова, К. Караева, М. Вайнберга, Г. Уствольской, Б. Тищенко, Э. Денисова и других композиторов. И все это писалось совершенно искренне — несмотря на свою деликатность и воспитанность, Шостакович в мнениях о музыке никогда не кривил душою.

Максим:

Отец высоко ценил талант своего приятеля Матвея Блантера, «Моти», как его называли все друзья. Кстати сказать, по этой причине я однажды пострадал. В школе надо было писать так называемое изложение. И там был персонаж, которого звали Матвеем. Так вот, я всюду писал «Мотвей». Учительница спрашивает: «Почему ты пишешь „Мотвей“, а не „Матвей“?» А я ей говорю: «У моего отца есть друг Матвей Блантер, и его все зовут „Мотя“…»

Принципиальность отца распространялась не только на коллег, ведь ему присылали свои сочинения самые разные люди, желающие стать композиторами. И он всем отвечал в доброжелательном тоне. Однако же никогда не вселял необоснованных надежд. Присылает ему песню собственного сочинения какой-то человек, который работает на подъемном кране. Шостакович пишет: «У вас такая прекрасная профессия: вы строите жилье, а это так нужно людям. Мой вам совет: продолжайте свою полезную деятельность». Ну и прочее в таком роде…

Шостакович — Эдисону Денисову:

«Я очень рад, что Вас волнуют всякого рода вопросы искусства, которое столь мне дорого и без которого я, вероятно, не смог бы прожить и дня… Настоящий художник любит свое творчество… Будет большой грех, если Вы зароете Ваш талант в землю. Конечно, для того, чтобы стать композитором, Вам надо много учиться. И не только ремеслу, но и многому другому. Композитор это не только тот, кто умеет недурно подбирать мелодию и аккомпанемент, кто может это недурно оркестровать и т. п. Это, пожалуй, может сделать каждый музыкально грамотный человек. Композитор — это нечто значительно большее. И, пожалуй, что такое композитор, Вы сможете узнать, очень хорошо изучив то богатейшее музыкальное наследство, которое осталось нам от великих мастеров… Вы просите посоветовать насчет дальнейшего. Ваш несомненный талант заставляет меня настаивать на том, чтобы Вы стали композитором. Но если Вам остался лишь один год пребывания в университете, то кончайте университет. Путь

композитора тернист (извините за несколько пошлую фразу). На своей шее испытал и испытываю… Если Вы на это решитесь, то в будущем не проклинайте меня. Повторяю: тернист путь композитора. Испытал и испытываю на собственной шее. А университет обязательно кончайте»

(Хентова, стр. 320).

Максим:

Шостакович отнюдь не по собственной воле занял пост руководителя Союза композиторов России. Но в этой должности он работал не за страх, а за совесть, использовал открывшиеся ему возможности, дабы помогать талантливым людям.

Софья Хентова:

«Поражала его объективность, беспристрастность. Будучи человеком обидчивым, как руководитель не позволял себе опускаться до личных обид. Е. Долматовскому довелось быть свидетелем того, как ученик Шостаковича, которого он „поднимал“, неблагодарно, некрасиво поступил, с чужого голоса и в угоду очередному поветрию выступил против Учителя. Шостакович был оскорблен до глубины души… но, выступая на пленуме, Шостакович не оправдывался… Отмечая успехи композиторов, он назвал в числе лучших и своего обидчика. Тут уж я (Долматовский) обиделся… и при первой же встрече сказал ему, что напрасно он похвалил подлеца.

Дмитрий Дмитриевич остудил мое кипение:

— Он у меня ходил в лучших учениках, и я не имею права менять свое мнение о его таланте из-за его бестактности. Меня за то и выбрали руководителем композиторской организации РСФСР, что я не умею сводить счеты.

И тут же перевел разговор в шутливый план:

— Ну и, разумеется, за то, что и руководить я тоже не умею»

(Хентова, стр. 396–397).

Композитор Борис Тищенко о Шостаковиче:

Рассказывал, как один из его знакомых писал музыку за другого, который «умел продать», а потом «делился»: «В уборной, понимаете ли, передавал деньги из кармана в карман, а тот ему ноты, чтобы никто не видел. Я говорю: „Кто этот негодяй? Я его исключу из Союза!“ (в то время Дмитрий Дмитриевич был первым секретарем СК РСФСР), а он мне отказался назвать его имя: „Все-таки он дает мне заработать…“»

(Шостакович Д. Статьи и материалы, стр. 101).

LI

Галина:

Отец берет в руки колоду карт и начинает их раздавать.

— Так, — произносит он, — сейчас не брать червей…

Это происходит на даче в Жуковке, мы играем в «кинга». За столом кроме нас с отцом наши соседи — академик Николай Антонович Доллежаль и его жена Александра Григорьевна.

Карты в жизни Шостаковича присутствовали всегда. В ту же самую игру — в «кинга» — играли еще при жизни мамы. А кроме того, отец очень любил раскладывать пасьянсы, это действовало на него успокаивающе.

Надо сказать, играли у нас всегда на деньги, шлепанье картами без выигрышей и проигрышей отец не признавал. Разумеется, когда проигрывала я, он за меня расплачивался.

За годы жизни в Жуковке мы сблизились с Доллежалями, вместе встречали Новый год. Начиналось это, предположим, на нашей даче, тут подавалась закуска и горячее блюдо… Потом все шли через дорогу к Доллежалям, где угощались десертом и мороженым… А иногда, если во встрече Нового года участвовали Ростропович и Вишневская, отправлялись и к ним, на третью дачу, и там ели фрукты…

Максим:

В академическом поселке, где стоит наша дача, жили главным образом академики-ядерщики. Если мне не изменяет память, самый поселок этот был построен по приказу Лаврентия Берии, который во времена сталинские был ответственным за производство ядерного оружия. И Сахаров имел в Жуковке дачу, и другие ученые, которые трудились в этой области. Я вспоминаю, как отец, прогуливаясь по академическому поселку с каким-нибудь своим гостем, объясняет ему:

— Здесь живет такой-то академик… А здесь такой-то… А вот тут совершенно гениальный человек. Он изобрел такое вещество, чайная ложка которого, будучи распыленной по земному шару, убьет решительно все живое на нашей планете… Гениальный человек!.. Просто гениальный!.. Теперь осталась только одна проблема: как бы равномерно распылить это по всей земле…

LII

Максим:

Однажды отец зашел в парикмахерскую побриться, а я ждал его в соседнем помещении. Там было включено радио — какая-то исполнительница распевала романс Александра Алябьева «Соловей». Когда бритье окончилось и мы вышли на улицу, отец поморщился и произнес:

— До чего же это отвратительная, антимузыкальная вещь — колоратура…

Я запомнил эти его слова, но убежден, что подобному высказыванию нельзя придавать абсолютного значения. Вполне возможно, что при других обстоятельствах и при другом настроении Шостакович слушал бы это пение не без удовольствия.

О себе он говорил:

— Я люблю всю хорошую музыку — от Баха до Оффенбаха.

К некоторым знаменитым композиторам у него было сложное отношение. У Чайковского, например, что-то ему активно не нравилось, а какие-то произведения он очень любил. Стойкое неприятие Шостакович испытывал лишь к музыке Скрябина, я помню его беспощадный отзыв об этом композиторе:

— Смесь теософии с парфюмерией.

Из русских он в особенности ценил Мусоргского и потратил очень много сил, дабы его музыка дошла до слушателей в наиболее близком к авторскому замыслу виде. Шостакович заново оркестровал «Бориса Годунова», «Хованщину», «Песни и пляски смерти»… У него вообще была склонность доводить до совершенства чужие произведения, которые он считал талантливыми.

Шостакович — своему ученику Борису Тищенко:

«С трепетом посылаю Вам партитуру. Поверьте, что я инструментовал Ваш концерт с полным уважением и большим восхищением к клавиру. Более подробные объяснения я буду давать Вам при встрече. Я не злоупотреблял духовым звучанием и начисто изъял из партитуры медь. Таким образом, я разрешил для себя

две задачи: 1) звучность не будет надоедать и 2) сольная виолончель везде будет слышна… Больше я не вносил своей капитальной отсебятины»

(Хентова, стр. 385).

LIII

Галина:

Это было на даче в Жуковке летом 1960 года. Отец спустился со второго этажа, присел на стул и объявил:

— Я только что закончил произведение, которое посвятил своей памяти.

Он посидел, покурил и опять ушел наверх, в свой кабинет.

В тот день был завершен знаменитый Восьмой квартет. В свое время он был сыгран, имел огромный успех, и тут же начался очередной нажим на автора с тем, чтобы он изменил посвящение. Отец принужден был уступить, и опус получил новое надписание — «Памяти жертв фашизма». С таким фальшивым посвящением квартет исполняется и до сего дня, и это лишнее свидетельство того, насколько коллеги-музыканты равнодушны к трагической судьбе Шостаковича.

Максим:

Разумеется, в 1960 году посвящение «Памяти жертв фашизма» воспринималось как сомнительное. Но если понимать слово «фашизм» как синоним «тоталитаризма», двусмысленность исчезает: Шостакович был одной из бесчисленных жертв чудовищного тоталитарного режима.

Галина:

Нет, с этим я не согласна. У меня до сих пор в ушах звучит: «Посвятил своей памяти». Такое нечасто услышишь, а уж тем паче от столь сдержанного человека, каким был наш отец. Я убеждена: необходимо восстановить подлинное посвящение.

Максим:

Человек, в те времена не живший, может подумать: какая же Шостакович жертва? Депутат Верховного Совета, народный артист Советского Союза, Герой Социалистического Труда, лауреат всех возможных премий и проч., и проч… Если смотреть

с такой точки зрения, то и Александр Пушкин никак не может считаться притесняемым: он был обласкан царем, да и сочинял верноподданнические стихи. Однако же все считают, что великий поэт пострадал от монархии. Увы! Шостаковичу довелось жить не в России времен Николая I, а в сталинском Советском Союзе. Бывали такие периоды, когда наш отец чувствовал себя на волосок от гибели. И до самой смерти своей он был напрямую зависим от безграмотных, наглых и жестоких чиновников, которые то и дело подвергали его прямому шантажу.

Я никогда не забуду, как летом 1960 года отец позвал нас с Галей в свой кабинет, сказал:

— Меня загнали в партию.

И тут он заплакал.

Я два раза в жизни видел его плачущим — когда умерла наша мама и в тот злополучный день.

Дмитрий Шостакович — Исааку Гликману:

«Я вернулся из поездки в Дрезден. Смотрел материалы кинофильма „5 дней, 5 ночей“, создаваемого Л. Арнштамом. <…>

Меня там очень хорошо устроили для создания творческой обстановки. Жил я в городе Горлице, также на курорте Горлиц, что под городом Кенингштейном, в 40 километрах от Дрездена. Место неслыханной красоты. Впрочем, ему и полагается быть таковым: это место называется Саксонская Швейцария. Творческие условия оправдали себя: я сочинил там 8-й квартет. Как я ни пытался выполнить вчерне задания по кинофильму, пока не смог. А вместо этого написал никому не нужный и идейно порочный квартет. Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: „Посвящается памяти автора этого квартета“. Основная тема квартета ноты D. Es. C. H., т. е. мои инициалы (Д. Ш.). В квартете использованы темы моих сочинений и революционная песня „Замучен тяжелой неволей“. Мои темы следующие: из 1-й симфонии, из 8-й симфонии, из Трио, из виолончельного концерта, из „Леди Макбет“. Намеками использованы Вагнер (траурный марш из „Гибели богов“) и Чайковский (2-я

тема 1-й части 6-й симфонии). Да: забыл еще мою 10-ю симфонию. Ничего себе окрошка. Псевдотрагедийность этого квартета такова, что я, сочиняя его, вылил столько слез, сколько выливается мочи после полдюжины пива. Приехавши домой, раза два попытался его сыграть и опять лил слезы. Но тут уже не только по поводу его псевдотрагедийности, но и по поводу удивления прекрасной цельностью формы. Но, впрочем, тут, возможно, играет роль некоторое самовосхищение, которое, возможно, скоро пройдет и наступит похмелье критического отношения к самому себе.

Сейчас я отдал квартет переписать и надеюсь начать его разучивать с теми же бетховенцами.

Вот и все, что произошло со мной в Саксонской Швейцарии»

(«Письма к другу», стр. 159).

Исаак Гликман:

«Вот что предшествовало сочинению Восьмого квартета.

В 20-х числах июня 1960 года Дмитрий Дмитриевич приехал в Ленинград и поселился не в Европейской гостинице, как он обычно делал, а в квартире сестры Марии Дмитриевны. Как выяснилось позже, этот поступок был совершен неспроста.

28 июня я нанес Дмитрию Дмитриевичу короткий визит. Он сообщил мне, что им недавно написаны „Пять сатир на стихи Саши Черного“ и он надеется познакомить меня с этим опусом. Но завтра — 29 июня рано утром — Дмитрий Дмитриевич позвонил мне и попросил немедленно прийти к нему. Когда я мельком взглянул на него, меня поразило страдальческое выражение его лица, растерянность и смятение. Дмитрий Дмитриевич поспешно повел меня в маленькую комнату, где он ночевал, бессильно опустился на кровать и принялся плакать, плакать громко, в голос. Я со страхом подумал, что с ним или с его близкими произошло большое несчастье. На мои вопросы он сквозь слезы невнятно произносил: „Они давно преследуют меня, гоняются за мной…“ В таком состоянии я никогда не видел Дмитрия Дмитриевича. Он был в тяжелой

истерике. Я подал ему стакан холодной воды, он пил ее, стуча зубами, и постепенно успокаивался. Примерно час спустя Дмитрий Дмитриевич, взяв себя в руки, начал мне рассказывать о том, что с ним случилось некоторое время тому назад в Москве. Там было решено по инициативе Хрущева сделать его председателем Союза композиторов РСФСР, а для того, чтобы занять этот пост, ему необходимо вступить в партию. Такую миссию взялся осуществить член бюро ЦК П. Н. Поспелов.

Вот что говорил мне (текстуально) Дмитрий Дмитриевич в июньское утро 1960 года, в разгар „оттепели“: „Поспелов всячески уговаривал меня вступить в партию, в которой при Никите Сергеевиче дышится легко и свободно. Поспелов восхищался Хрущевым, его молодостью, он так и сказал — „молодостью“, его грандиозными планами, и мне необходимо быть в партийных рядах, возглавляемых не Сталиным, а Никитой Сергеевичем. Совершенно оторопев, я, как мог, отказывался от такой чести. Я цеплялся за соломинку, говорил, что мне не удалось овладеть марксизмом, что надо подождать, пока я им овладею. Затем я сослался на свою религиозность. Затем я говорил, что можно быть беспартийным председателем Союза композиторов по примеру Константина Федина и Леонида Соболева, которые, будучи беспартийными, занимают руководящие посты в Союзе писателей. Поспелов отвергал все мои доводы и несколько раз называл имя Хрущева, который озабочен судьбой музыки, и я обязан на это откликнуться. Я был совершенно измотан этим разговором. При второй встрече с Поспеловым он снова прижимал меня к стенке. Нервы мои не выдержали, и я сдался“.

Рассказ Дмитрия Дмитриевича несколько раз прерывался моими взволнованными вопросами. Я напомнил ему, как он часто говорил мне, что никогда не вступит в партию, которая творит насилие. После больших пауз он продолжал: „В Союзе композиторов сразу узнали о результате переговоров с Поспеловым, и кто-то успел состряпать заявление, которое я должен как попугай произнести на собрании. Так знай: я твердо решил на собрание не являться. Я тайком приехал в Ленинград, поселился у сестры, чтобы скрыться от своих мучителей. Мне все кажется, что они одумаются, пожалеют меня и оставят в покое. А если это не

произойдет, то я буду сидеть здесь взаперти. Но вот вчера вечером прибыли телеграммы с требованием моего приезда. Так знай, что я не поеду. Меня могут привезти в Москву только силком, понимаешь, только силком“.

Сказав эти слова, звучавшие как клятва, Дмитрий Дмитриевич вдруг совершенно успокоился. Своим, как ему казалось, окончательным решением он как бы развязал тугой узел, стянувший его горло. Первый шаг был уже сделан: своей неявкой он сорвал готовившееся с большой помпой собрание. Обрадованный этим, я попрощался с Дмитрием Дмитриевичем и отправился в Зеленогорск, где снимала дачу моя матушка, и обещал на днях навестить отшельника. Однако он, не дождавшись меня, сам без предупреждения приехал 1 июля поздно вечером ко мне в Зеленогорск с бутылкой водки. Шел дождь. Дмитрий Дмитриевич выглядел измученным, вероятно, после бессонной ночи с ее душевными переживаниями.

Дмитрий Дмитриевич, едва переступив порог нашей хижины, сказал: „Извини, что так поздно. Но мне захотелось поскорее увидеть тебя и разделить с тобой мою тощищу“. Я тогда не знал, что эту грызущую его „тощищу“ он через несколько недель изольет в музыке Восьмого квартета и таким образом сумеет отвести душу.

Захмелев от выпитой водки, Дмитрий Дмитриевич заговорил не о фатальном собрании, а могуществе судьбы и процитировал строку из пушкинских „Цыган“: „И от судеб защиты нет“. Слушая его, я вдруг с грустью подумал, не склонен ли он покориться судьбе, сознавая невозможность сразиться с ней и победить ее. К сожалению, так и случилось. Собрание, походившее на трагифарс, было организовано вторично, и Дмитрий Дмитриевич, сгорая от стыда, зачитал сочиненное для него заявление о приеме в партию. <…>

Творческое, художническое бесстрашие Шостаковича сочеталось в нем со страхом, взращенным сталинским террором. Многолетняя духовная неволя опутала его своими сетями, и не случайно в автобиографическом Восьмом квартете так надрывно, драматично звучит мелодия песни „Замучен тяжелой неволей“»

(«Письма к другу», стр. 160–161).

LIV

Галина:

— Когда он вошел, я поразился, до чего он похож на молодого Сталина — лицо восточное, усы…

Это отзыв моего отца о знаменитом хирурге из города Кургана — Гаврииле Абрамовиче Илизарове. В 1969 году отец обратился к нему за помощью, поскольку московские врачи никак не могли помочь ему преодолеть недуг — слабость в ногах.

И еще я вспоминаю, что встречать Илизарова на вокзал по просьбе отца поехал Ростропович. Они договаривались об этом по телефону, и склонный к шуткам, Мстислав Леопольдович говорил:

— Я буду стоять в начале железнодорожной платформы. Вы легко меня узнаете — я похож на обезьяну.

Встреча благополучно состоялась, после чего Ростропович посетовал:

— Как видно, я взаправду похож на обезьяну. Выйдя из вагона, Илизаров направился прямо ко мне, хотя на перроне стояло довольно много людей…

Весной 1970 года отец отправился для лечения в Курган.

Шостакович — Гликману:

«Живем мы здесь так: встаем в 7 часов. От семи до восьми совершаю свой утренний обряд: мытье, бритье, физкультура, слушание последних известий. В 8.30 завтрак. В 9.15 уезжаем в лес, где гуляем один час. От 11 до 12.30 жестокая, вгоняющая в пот гимнастика и массаж. В 13.30 обед. В 15.30 опять едем гулять в лес. В 17 возвращаемся в больницу. Все это идет на пользу. Руки, ноги становятся крепче. Но к вечеру я устаю… <… >

Кроме того, раз в три дня мне делают укол. Сделали несложную операцию. То, что я видел в больнице в области лечения, вызывает у меня восторг, удивление, великое восхищение человеческим гением. В данном случае речь идет о Гаврииле Абрамовиче Илизарове. При встрече я расскажу тебе о его достижениях»

(«Письма к другу», стр. 27).

Максим:

Я вспоминаю, как отец рассказывал об одном сильнейшем курганском впечатлении. Вместе с ним в больнице находилось множество детей с недоразвитыми или поврежденными руками и ногами… И вот он видел, как эти ребятишки играли в мяч. Во время игры они были совершенно счастливы, они не помнили о своих увечьях и не ощущали их — был слышен смех и радостные крики.

Софья Хентова:

«От процедур отдыхал, играя с маленьким мальчиком Сережей, тоже лечившимся у Илизарова. Мальчик непринужденно появлялся в палате и предлагал: „Дмитрий Дмитриевич, давайте играть в мяч!“ — „А что же, сыграем“.

И вдвоем принимались за свой футбол»

(Хентова, стр. 536).

LV

Максим:

Первые симптомы болезни появились у отца в 1958 году. Он был во Франции и выступал в концертах. И вот тогда почувствовал недомогание правой руки. Сначала он решил, что «переиграл руку». Есть у пианистов такой термин, когда от репетиций и выступлений рука переутомляется и начинает побаливать… Но болезнь развивалась, и в конце концов поставили диагноз. Это называется «боковой амеотрофический склероз», в Америке сокращенно — SLA. Болезнь очень противная, у отца была поражена вся правая сторона тела… И была опасность, что когда-нибудь откажет дыхательный аппарат. Но папа до этого не дожил, у него развился рак легкого… Своих недомоганий он стеснялся, я бы сказал, что он относился к болезням целомудренно.

Исаак Гликман:

«5 мая [1972] состоялась премьера Пятнадцатой [симфонии]. Зал филармонии был набит до отказа. Публика во все глаза смотрела на ложу, в которой сидел Шостакович. Мне показалось, что многие пришли на концерт не только для того, чтобы послушать симфонию, но для того, чтобы непременно посмотреть на любимого автора.

Он был в черном костюме, белоснежной сорочке и на расстоянии выглядел прежним, молодым, красивым.

По окончании симфонии началась овация. Появление на эстраде Шостаковича вызвало громадный энтузиазм публики. За кулисами он мне сказал: „Если бы ты знал, как устали мои ноги выходить на вызовы“. И лицо его сделалось страдальческим»

(«Письма к другу», стр. 287).

Дирижер Кирилл Кондрашин:

«К 1970 году в моем репертуаре были уже многие произведения Шостаковича, и возникла мысль исполнения цикла всех его симфоний в честь шестидесятипятилетия со дня рождения композитора. Замысел был реализован в течение двух лет. Дмитрий Дмитриевич присутствовал на многих концертах, часто несмотря на болезненное состояние. Каждый раз перед началом концерта он говорил примерно следующее:

— Кирилл Петрович, если симфония будет иметь успех и вы захотите вызвать меня на поклон, пожалуйста, не обижайтесь, если я не поднимусь на сцену, а только подойду к эстраде. Мне трудно быстро подниматься по ступенькам, все будут за мною наблюдать, а я этого терпеть не могу»

(Шостакович Д. Статьи и материалы, стр. 94).

Софья Хентова:

«С радостью и благодарностью Шостакович откликнулся на предложение участвовать в подготовке оперы „Нос“ на сцене Камерного музыкального театра под руководством режиссера Б. А. Покровского и дирижера Г. Н. Рождественского. В театре, расположенном в подвальном помещении, как вспоминал Покровский, „ему было мучительно трудно опускаться по лестницам, а еще того пуще подниматься после репетиции вверх“. Естественно, что восторженные артисты предложили нести Дмитрия Дмитриевича по лестнице на руках (это так просто!). Но столь же естественно и просто от этого отказался Дмитрий Дмитриевич. Его вполне устроила запасная лестница во двор, и никто не видел, как двигался по ней наш дорогой гость. Никто не видел, не помогал, не соболезновал, не фиксировал внимания на проклятой болезни. Пустяк? Нет, он оградил себя от оскорбительной жалости. И мы помним, как он вдруг появлялся среди нас, чтобы разделить с нами наш труд»

(Хентова, стр. 562).

Галина:

Я вспоминаю, как отец извинялся перед каким-нибудь своим знакомым:

— Простите, я вынужден здороваться с вами левой рукой…

В конце 1973 года у него обнаружили опухоль в левом легком. Я помню, он вернулся из поликлиники, прилег… Я подошла к нему, он говорит:

— В рентгеновском кабинете смотрели меня два часа… То один врач придет, то другой…

Конечно, он догадался, что дело плохо… Но он ни с кем из близких эту тему не поднимал. Это был его жизненный принцип — никогда и никого не нагружать своими собственными проблемами…

Исаак Гликман, дневниковая запись:

«9 июня 1974 года.

Сегодня я был у Дмитрия Дмитриевича в Репине. Мы довольно долго беседовали о разных разностях… <…> Когда мы остались вдвоем (Ирина Антоновна вышла из комнаты), Дмитрий Дмитриевич заговорил о страданиях, которые он испытывает из-за ног и рук. Когда он по этому поводу произносил отрывистые фразы, слезы блеснули у него на глазах. Затем, сдержав себя, Шостакович сказал: „Впрочем, я не люблю жалобщиков и сам не люблю жаловаться“.

Слушая его, я сам чуть не расплакался»

(«Письма к другу», стр. 301).

Максим:

Невозможно не сказать о той роли, которую сыграла в жизни нашего отца его жена Ирина Антоновна. Она вышла замуж за Шостаковича в 1962 году, когда его болезнь была в начальной стадии и даже диагноз еще не был поставлен. И во все последующие годы именно Ирина Антоновна была его главной опорой и поддержкой. Они были вместе во всех поездках, в больницах и санаториях, она была и секретарем, и шофером, и сиделкой…

Галина:

Помимо всего прочего Ирина Антоновна умела организовать то, что называется распорядком и бытом. Вот Дмитрий Дмитриевич работает, вот он отдыхает… И она строжайше следила за тем, чтобы его лишний раз не отвлекли, чтобы его не потревожили…

А уже в самые последние годы она стала его поводырем, если это слово можно применить по отношению к тому, кто печется о зрячем человеке. Я так и вижу, она идет с ним под руку и произносит: «Осторожно, Митя, здесь ступенька вниз… А здесь ступенька вверх…»

В конце концов на даче в Жуковке был устроен лифт, чтобы отец мог прямо из прихожей подниматься к себе в комнату. Но ведь мы жили в Советском Союзе, и при этом лифте должен был быть человек, который официально имел бы право за ним следить. И Ирина Антоновна, ничтоже сумняшеся, пошла на специальные курсы лифтеров и получила диплом об их окончании. И вот однажды полученные навыки пригодились. Лифт, в котором находился Шостакович, застрял между этажами… Тогда Ирина Антоновна по приставной лестнице залезла на чердак, и там они с домработницей руками поворачивали огромное металлическое колесо… Лифт двинулся, дошел до второго этажа, и отец был освобожден из своего плена.

Максим:

Я убежден, что именно благодаря заботе, которой его окружила Ирина Антоновна, наш отец, несмотря на свои тяжелые недуги, дожил почти до семидесяти лет. И при этом не должно забывать, что Шостакович оставался творцом до последних дней своей жизни. Он всегда внушал своим ученикам:

— Не следует писать музыку, если ты можешь ее не писать.

Сам он не мог не сочинять, он был одержим творчеством всю свою жизнь. Я уверен, что самое существенное и верное суждение о Шостаковиче было произнесено 14 августа 1975 года над его гробом. Юрий Свиридов — один из лучших и любимейших его учеников — говорил: «…мягкий, уступчивый, подчас нерешительный в бытовых делах, этот человек в главном своем — сокровенной сущности своей — был тверд как камень. Его целеустремленность была ни с чем не сравнима».

В 1936 году, в страшное для себя (да и для всей страны) время, ошельмованный и униженный, Шостакович произнес такую фразу:

— Если мне отрубят обе руки, я возьму перо в зубы и все

равно буду писать музыку.

Это были не пустые слова.